



БОРИС СОКОЛОВ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ

ИДИОТ

БЕСЫ

БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ

Федор Михайлович Достоевский

РАСШИФРОВАННЫЙ
ДОСТОЕВСКИЙ

Расшифрованная литература. Достоевский

Борис Соколов

**Расшифрованный
Достоевский. «Преступление
и наказание», «Идиот»,
«Бесы», «Братья Карамазовы»**

«Яуза»

2021

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

Соколов Б. В.

Расшифрованный Достоевский. «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» / Б. В. Соколов — «Яуза», 2021 — (Расшифрованная литература. Достоевский)

ISBN 978-5-04-117299-2

Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

ISBN 978-5-04-117299-2

© Соколов Б. В., 2021

© Яуза, 2021

Содержание

Вместо введения	7
Достоевский и христианство. Комментарий к Бердяеву	7
«Преступление и наказание»	20
Родион Раскольников: воскрешение великого грешника	20
«Идиот»	46
Князь Мышкин: поражение и победа «абсолютно прекрасного человека»	46
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Борис Соколов
Расшифрованный Достоевский.
«Преступление и наказание», «Идиот»,
«Бесы», «Братья Карамазовы»

© Соколов Б.В., 2021

© ООО «Издательство «Яуза», 2021

© ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Вместо введения

Достоевский и христианство. Комментарий к Бердяеву

Федор Михайлович Достоевский – не просто один из величайших русских писателей. Это тот человек, по произведениям которого весь мир судит о России, о таинственной русской душе. О нем написаны тысячи книг, десятки тысяч статей, но каждая новая работа, если она действительно серьезна и глубока, лишь умножает число загадок в жизни и творчестве писателя. Не раз романы Достоевского переносились на экран, инсценировались в театрах. Их ставили великие режиссеры, персонажей Достоевского играли великие актеры, но что-то неуловимое и вместе с тем важное уходит даже из самых талантливых постановок, не постигается в самых фундаментальных исследованиях, не улавливается самыми выдающимися философами, самыми просвещенными психологами и психиатрами.

В заслугу Достоевскому ставят как небывалое до него проникновение в глубины человеческой психики, так и открытие всечеловеческого религиозного переживания страдания и любви, собственной греховности и темных страстей вместе со светлой верой в счастливую судьбу человечества и вселенскую миссию русского народа. Четыре романа заслуженно признаются вершиной творчества Достоевского, и как раз в них христианская тема выражена наиболее отчетливо в виде искупления через страдание. Это – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». К данным романам и приковано прежде всего внимание читателей и исследователей.

В Достоевском видели первого философа-экзистенциалиста и еще при жизни писателя сравнивали его со знаменитым маркизом де Садом. И так и не поняли до конца, сознавал ли он себя великим грешником, которому потребно раскаяние, или он просто настолько сжился со своими героями, что переживал их грехи как свои собственные.

Достоевского называют также настоящим предтечей Ницше и Фрейда, первым развенчавшим комплекс сверхчеловека и заглянувшим в глубины подсознания. В то же время тягу к болезненным состояниям человеческой души связывали у Достоевского не только с тяжелейшим жизненным опытом (смертным приговором, каторгой, смертью детей), но и с его заболеванием – эпилепсией, или, как говорят на Руси, падучей болезнью, сильно повлиявшей на психику писателя.

Я попытаюсь приоткрыть завесу тайны только над некоторыми образами и героями Достоевского, ограничившись четырьмя вышеназванными романами. Как известно, в Средние века родилась теория «двойственной истины», которую на Арабском Востоке придумал Ибн-Рушд (или Аверроэс, на испанский манер, поскольку арабской тогда была большая часть Испании), а в Европе – английский богослов, философ и математик Уильям Оккам. Согласно данной теории, есть два рода истины, истина веры и истина знания, причем первая неизмеримо выше второй. Божественное откровение постигается только верой, и к нему неприменимы критерии познания окружающего нас материального мира, который, напротив, познается лишь средствами науки, грубым, эмпирическим путем. В этом мире ни одна истина не принимается на веру без доказательства. Но бесполезно искать доказательств бытия Божьего или каких-либо Божественных проявлений. В это можно только верить, в противном случае мы профанируем Бога, сольем его с нашей грешной землей.

Таким образом, истины двух родов никак нельзя смешивать в науке, иначе она не сможет развиваться. А вот в художественной литературе еще как можно. И Достоевский это блестяще сделал в своем творчестве.

Известно, что его герои нередко иллюстрируют конкретные евангельские образы и максимы. Однако при этом они остаются вполне живыми людьми и воспринимаются как реальные, хотя и довольно необычные типы. Достоевский первым открыл, что за внешне благополучной оболочкой семейной или социальной жизни могут скрываться такие психологические изломы, такие темные страсти, что современникам во второй половине XIX века они внушали подлинный ужас. Вера у Достоевского сливается с жизнью, познается через жизнь и становится главной жизнестроительной силой. Затем, когда в России меньше чем через сорок лет после смерти Достоевского грянула революция и Гражданская война и в результате к власти пришли «бесы» – большевики, творчество писателя стало восприниматься как пророчество, как предупреждение, к которому не прислушались. Позднее же, когда мир узнал кошмар Второй мировой войны, Освенцим и ГУЛАГ, романы и публицистику Достоевского сочли пророчеством уже во всемирном масштабе, пророчеством насчет того, что должно произойти от недостатка братской, христианской любви между народами.

В России настоящее понимание Достоевского пришло вскоре после его смерти. При жизни писателя его произведения были объектом полемики между либерально-народнической и консервативно-охранительной критикой. Одни отрицали антинигилистический пафос Достоевского, другие подчеркивали его почвенничество, нелюбовь к «малому народу» и полякам и лозунг «Крест на святую Софию!». Только на рубеже XIX–XX веков, когда вслед за Владимиром Соловьевым в России возникла оригинальная религиозная философия, часть интеллигенции обратилась к Богу, тогда как во времена Достоевского в ней господствовало неверие. Вот тогда и были оценены религиозные прозрения Достоевского, его предвидение революции, глубокое постижение писателем души русского народа и страстной религиозности русского нигилизма и атеизма, постановка им «последних «проклятых вопросов», за полвека предвосхитившая европейский экзистенциализм. В своей книге я старался как можно полнее представить те суждения отечественных философов о Достоевском, которые, на мой взгляд, сохраняют актуальность и сегодня.

Как мне кажется, из всех философов, критиков и литературоведов глубже и точнее всех Достоевского понял Николай Александрович Бердяев. В «Мировоззрении Достоевского» он утверждал: «Искусство Достоевского все – о глубочайшей духовной действительности, о метафизической реальности, оно менее всего занято эмпирическим бытом. Конструкция романов Достоевского менее всего напоминает так называемый «реалистический» роман. Сквозь внешнюю фабулу, напоминающую неправдоподобные уголовные романы, просвечивает иная реальность. Не реальность эмпирического, внешнего быта, жизненного уклада, не реальность почвенных типов реальны у Достоевского. Реальна у него духовная глубина человека, реальна судьба человеческого духа. Реально отношение человека и Бога, человека и дьявола, реальны у него идеи, которыми живет человек. Те раздвоения человеческого духа, которые составляют глубочайшую тему романов Достоевского, не поддаются реалистической трактовке. Потрясающе гениальная обрисовка отношений между Иваном Карамазовым и Смердяковым, через которые открываются два «я» самого Ивана, не может быть названа «реалистической». И еще менее реалистичны отношения Ивана и черта. Достоевский не может быть назван реалистом и в смысле психологического реализма. Он не психолог, он – пневматолог и метафизик-символист. За жизнью сознательной у него всегда скрыта жизнь подсознательная, и с ней связаны вещи предчувствия. Людей связывают не только те отношения и узы, которые видны при дневном свете сознания. Существуют более таинственные отношения и узы, уходящие в глубины подсознательной жизни. У Достоевского иной мир всегда вторгается в отношения людей этого мира. Таинственная связь связывает Мышкина с Настасьей Филипповной и Рогожиным, Раскольникова со Свидригайловым, Ивана Карамазова со Смердяковым, Ставрогина с Хромоможкой и Шатовым. Все прикованы у Достоевского друг к другу какими-то нездешними узами. Нет у него случайных встреч и случайных отношений. Все определяется в ином мире, все

имеет высший смысл. У Достоевского нет случайностей эмпирического реализма. Все встречи у него – как будто бы нездешние встречи, роковые по своему значению. Все сложные столкновения и взаимоотношения людей обнаруживают не объективно-предметную, «реальную» действительность, а внутреннюю жизнь, внутреннюю судьбу людей. В этих столкновениях и взаимоотношениях людей разрешается загадка о человеке, о его пути, выражается мировая «идея». Все это мало походит на так называемый «реалистический» роман. Если и можно назвать Достоевского реалистом, то реалистом мистическим».

Великий русский религиозный философ творил уже в эпоху символизма. И в образах Достоевского он увидел символы иного мира, мистическое проникновение в суть отражения в тварном мире Божьего промысла.

Как заметил современный немецкий философ Райнхард Лаут, «от Достоевского начинается новое развитие. Он пробудил религиозное сознание и порыв, он указал на Христа, радикально поставив трагичность души в сердцевину жизни. Как мощный пророк, он разбудил дремлющих и позволил им заглянуть в бездну, над которой они, не подозревая того, стояли; он показал заблудшим, что их пути не ведут к небытию, и обозначил отчаявшимся дорогу к освобождению. Он разделяет с нами нашу вину, обучая нас нести виновность и в то же время показывая нам, что в темноте есть реальная возможность света. Ты и я, говорит он читателю, мы оба переживаем бездну мучений, но мы существуем, мы есть. В темнице сидим мы, но в нас есть жизнь и мы видим солнце. Если не видим его, то все же знаем, что оно есть, «а знать, что есть солнце, – это уже вся жизнь». И потому его мощный призыв обращен к любой ищущей и во мраке страждущей душе...»

Достоевский не только совершил революционный переворот в литературе, философии, в восприятии христианства. Его творчество лежало в русле традиции русской литературы, идущей от Гоголя. В связи с этим Бердяев подчеркивал: «Из великих русских писателей Достоевский непосредственно примыкает к Гоголю, особенно в первых своих повестях. Но отношение к человеку у Достоевского существенно иное, чем у Гоголя. Гоголь воспринимает образ человека разложившимся, у него нет людей, вместо людей – странные хари и морды. В этом близко к Гоголю искусство Андрея Белого. Достоевский же целостно воспринимал образ человека, открывал его в самом последнем и падшем. Когда Достоевский стал во весь свой рост и говорил свое творческое новое слово, он уже был вне всех влияний и заимствований, он – единственное, небывалое в мире творческое явление...»

Тезис о том, что Достоевский вырос из Гоголя, в особенности из гоголевской «Шинели», весьма распространен в русском литературоведении. Так, А.С. Долинин подчеркивал в статье о Достоевском в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, что «он начинает как верный ученик Гоголя, автора «Шинели», и понимает обязанности художника-писателя, как учил Белинский. «Самый забитый последний человек есть тоже человек и называется брат твой» (слова, сказанные им в «Униженных и оскорбленных»).... Даже мир – тот же гоголевский, чиновничий, по крайней мере, в большинстве случаев. И распределен он у него, согласно идее, почти всегда на две части: на одной стороне слабые, жалкие, забитые «чиновники для письма» или честные, правдивые, болезненно чувствительные мечтатели, находящие утешение и радость в чужом счастье, а на другой – надутые до потери человеческого облика «их превосходительства», по существу, может быть, вовсе не злые, но по положению, как бы по обязанности коверкающие жизнь своих подчиненных, и рядом с ними чиновники средней величины, претендующие на бонтонность, во всем подражающие своим начальникам».

А В. Я. Кирпотин вспоминал, как единственный раз беседовал с Михаилом Булгаковым: «Он спросил меня: кого я люблю из русских писателей? Я ответил: «Пушкина и Толстого». Он сказал: «А я Гоголя и Достоевского». И немного подумав, добавил: «Я давно заметил: человеку, любящему Пушкина, непременно нравится Толстой, а человеку, любящему Гоголя, Достоевский». В общем, я согласен с ним».

Действительно, давно замечено, что в русской литературе всегда сосуществовали две линии, от Пушкина к Толстому и от Гоголя к Достоевскому, причем у каждого из этих писателей есть свой специфический круг читателей. Толстого с особым удовольствием читают люди относительно благополучные, «правильные», ценящие стабильность жизни. Характеры у толстовских героев цельные, описания природы и людей радуют глаз. Напротив, у Достоевского герои всегда раздвоены, раздираемые духовными противоречиями, мучающиеся от сознания собственной греховности, от душевного разлада. Природу Достоевский почти не описывает, больше – замкнутые городские пространства. А если речь все же заходит о живой, не каменной природе, то пейзажи Достоевского неизменно вызывают у читателей тревогу и беспокойство. Толстой любил выводить в своих романах помещиков, хорошо знал быт дворянских усадеб. У Достоевского герои обычно не дворяне, а разночинцы. А если дворяне и выступают на сцену – в лице Свидригайлова, Ставрогина, Карамазовых, то они-то как раз и демонстрируют высшую степень душевной раздвоенности и оказываются во власти темных страстей.

Достоевский, в отличие от графа Толстого, вынужден был зарабатывать на жизнь литературным трудом. Достоевский был дворянином, поскольку его отец, Михаил Андреевич Достоевский, военный лекарь, выйдя в отставку коллежским советником в 1837 году, получил потомственное дворянство (право на него тогда давал уже чин коллежского асессора, на два класса ниже, чем коллежский советник). После этого, как водится, у Достоевских появилась фантастическая родословная (точно так же, кстати сказать, как и у Гоголя). Например, предки Федора Михайловича будто бы восходили к родовитой литовской шляхте XVI века. Якобы родоначальником рода Достоевских считается Данило Иванович Иртищ (Ртищевич, Артищевич – по другим источникам). Ему за верную службу у князя Федора Ивановича Ярославича было пожаловано село Достоево в Каменец-Подольской губернии. При этом дед писателя Андрей Михайлович каким-то образом оказывается православным священником села Войтовицы все в той же Подольской губернии, причем задолго до того, как часть польской и литовской шляхты, не имевшая крепостных, в начале XIX века была царским указом переведена в однодворцы. До этого же переход из дворянского звания в священническое был событием крайне редким, почти невероятным. Резонно предположить, что на самом деле род Достоевских был из сельских священников, а к литовскому шляхтичу Даниле Иртищу его возвели только после получения отцом писателя потомственного дворянства, чтобы внести в родословную книгу родословие побогаче. Такие фальшивые родословия широко ходили на Украине по весьма умеренной цене во времена жизни Гоголя и отца Достоевского. Отец Гоголя, когда службой заслужил право на потомственное дворянство, точно так же купил себе родословную, возводящую род Яновских к мифическому казацкому полковнику середины XVII века Андрею Гоголю, будто бы получившему шляхетство от короля Яна Казимира, но только через шесть лет после отречения последнего от престола. Очевидно, тот же случай мы имеем и с Достоевским. Так что в отличие от действительно столбовых дворян Пушкина и Толстого Гоголь и Достоевский были дворянами с более чем сомнительной родословной и, вероятно, сознавали это, хотя Гоголь порой пытался доказать окружающим ее подлинность.

Достоевский, думается, всегда считал себя разночинцем в душе. Отец ведь его дворянство приобрел службой. И самому ему пришлось год тянуть офицерскую лямку в Инженерном департаменте, затем отставка, жизнь литературным трудом, арест, смертная казнь, замененная каторгой, лишение всех прав состояния, пребывание в Мертвом доме, солдатская служба и опять существование на литературные заработки. Поэтому Достоевский и не чувствовал своей принадлежности к дворянству, хотя новый император и возвратил ему права состояния. Писатель описывал тот слой, который еще при его жизни начали называть русской интеллигенцией. Интеллигенты Раскольников, Разумихин, отец и сын Верховенские, да и другие «бесы», не исключая Ставрогина, и, конечно же, Иван Карамазов. Теми страданиями, которые он сам перенес, Достоевский щедро наделил своих героев. Потому давно замечено, что Достоевского

гораздо лучше понимают и гораздо больше любят люди с изломанной судьбой, с проблемами в личной жизни, подверженные страстям, тогда как люди более спокойные и благополучные предпочитают Толстого.

Бердяев писал в «Мировоззрении Достоевского»: «В Достоевском достигает вершины русская литература, и в творчестве его выявляется этот мучительный и религиозно серьезный характер русской литературы. В Достоевском сгущается вся тьма русской жизни, русской судьбы, но в тьме этой засветил свет. Скорбный путь русской литературы, преисполненный религиозной болью, религиозным исканием, должен был привести к Достоевскому. Но в Достоевском совершается уже прорыв в иные миры, виден свет. Трагедия Достоевского, как и всякая истинная трагедия, имеет катарсис, очищение и освобождение. Не видят и не знают Достоевского те, которых он исключительно повергает в мрак, в безысходность, которых он мучит и не радуется. Есть великая радость в чтении Достоевского, великое освобождение духа. Это – радость через страдание. Но таков христианский путь. Достоевский возвращает веру в человека, в глубину человека.

Этой веры нет в плоском гуманизме. Гуманизм губит человека. Человек возрождается, когда верит в Бога. Вера в человека есть вера во Христа, в Бого-Человека. Через всю жизнь свою Достоевский пронес исключительное, единственное чувство Христа, какую-то исступленную любовь к лику Христа. Во имя Христа, из бесконечной любви к Христу порвал Достоевский с тем гуманистическим миром, пророком которого был Белинский. Вера Достоевского во Христа прошла через горнило всех сомнений и закалена в огне. Он пишет в своей записной книжке: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую. Через большое горнило сомнений моя Осанна прошла». Достоевский потерял юношескую веру в «Шиллера» – этим именем символически обозначал он все «высокое и прекрасное», идеалистический гуманизм. Вера в «Шиллера» не выдержала испытания, вера в Христа выдержала все испытания. Он потерял гуманистическую веру в человека, но остался верен христианской вере в человека, углубил, укрепил и обогатил эту веру. И потому не мог быть Достоевский мрачным, безысходно-пессимистическим писателем. Освобождающий свет есть и в самом темном и мучительном у Достоевского. Это – свет Христов, который и во тьме светит. Достоевский проводит человека через бездны раздвоения – раздвоение основной мотив Достоевского, но раздвоение не губит окончательно человека. Через Бого-Человека вновь может быть восстановлен человеческий образ...

Достоевский опьянен мыслью, он весь в огневом вихре мысли. Диалектика идеи у Достоевского опьяняет, но в опьянении эта острота мысли не угасает, мысль достигает последней остроты. Те, которые не интересуются идейной диалектикой Достоевского, трагическими путями его гениальной мысли, для кого он лишь художник и психолог, те не знают много в Достоевском, не могут понять его духа. Все творчество Достоевского есть художественное разрешение идейной задачи, есть трагическое движение идей. Герой из подполья – идея, Раскольников – идея, Ставрогин, Кириллов, Шатов, П.Верховенский – идеи, Иван Карамазов – идея. Все герои Достоевского поглощены какой-нибудь идеей, опьянены идеей, все разговоры в его романах представляют изумительную диалектику идей. Все, что написано Достоевским, написано им о мировых «проклятых» вопросах. Это менее всего означает, что Достоевский писал тенденциозные романы а these для проведения каких-либо идей. Идеи совершенно имманентны его художеству, он художественно раскрывает жизнь идей. Он – «идейный» писатель в платоновском смысле слова, а не в том противном смысле, в каком это выражение обычно употреблялось в нашей критике. Он созерцает первичные идеи, но всегда в движении, в динамике, в трагической их судьбе, а не в покое. О себе Достоевский очень скромно говорил: «Шваховат я в философии (но не в любви к ней, в любви к ней силен)». Это значит, что академическая философия ему плохо давалась. Его интуитивный гений знал собственные пути философство-

вания. Он был настоящим философом, величайшим русским философом. Для философии он дает бесконечно много...

К человеку должна быть применена не арифметика, а высшая математика. Судьба человеческая никогда не основывается на той истине, что дважды два четыре. Человеческая природа никогда не может быть рационализирована. Всегда остается иррациональный остаток, и в нем – источник жизни. Невозможно рационализировать и человеческое общество. И в обществе всегда остается и действует иррациональное начало. Человеческое общество не муравейник, и не допустит человеческая свобода, которая влечет к тому, чтобы «по своей глупой воле пожить», превращения общества в муравейник. Джентльмен с ретроградной и насмешливой физиономией и есть восстание личности, индивидуального начала, восстания свободы, не допускающей никакой принудительной рационализации, никакого навязанного благополучия. Тут уже определяется глубокая вражда Достоевского к социализму, к Хрустальному Дворцу, к утопии земного рая. Это потом до глубины раскроется в «Бесах» и в «Братьях Карамазовых». Человек не может допустить, чтоб его превратили в «фортепианную клавишу» и в «штифтик». У Достоевского было иступленное чувство личности. Все его мирозерцание проникнуто персонализмом. С этим была связана и центральная для него проблема бессмертия. Достоевский – гениальный критик современного эвдемонизма, он раскрывает несовместимость его со свободой и достоинством личности».

Стоит обратить внимание на очень важную особенность творчества Достоевского, верно подмеченную Бердяевым: радость через страдание. Есть и другое название этого явления: мазохизм. А учитывая, что сам знаменитый маркиз де Сад оказал существенное влияние на автора «Бесов», «Братьев Карамазовых» (об этом – дальше), то все это вполне укладывается в классический садо-мазохистский комплекс. Достоевскому претил рационализм современной Европы, он верил, что человеческие чувства нельзя описать никакими арифметическими формулами или с помощью романтических либо сентименталистских схем. Достоевский делал это, проникая в глубины психологии и поверяя жизнь персонажей христианским учением.

Бердяев подчеркивал в «Мировоззрении Достоевского», что в творчестве писателя практически нет счастливой любви: «У Достоевского нет ни прелести любви, ни благообаяния жизни семейной. Он берет человека в тот момент его судьбы, когда пошатнулись уже все устои жизни. Он не раскрывает нам высшей любви, которая ведет к подлинному соединению и слиянию. Тайна брачная не осуществляется. Любовь есть исключительно трагедия человека, раздвоение человека. Любовь есть начало в высшей степени динамическое, накаляющее всю атмосферу и вызывающее вихри, но любовь не есть достижение, в ней ничего не достигается. Она влечет к гибели. Достоевский раскрывает любовь как проявление человеческого своеволия. Она раскалывает и раздваивает человеческую природу. Поэтому она никогда не есть соединение и к соединению не приводит. В творчестве Достоевского есть лишь одна тема – трагическая судьба человека, судьба свободы человека. Любовь лишь один из моментов в этой судьбе. Но судьба человека есть лишь судьба Раскольникова, Ставрогина, Кириллова, Мышкина, Версилова, Ивана, Дмитрия и Алеши Карамазовых. Это не есть судьба Настасьи Филипповны, Аглаи, Лизы, Елизаветы Николаевны, Грушеньки и Екатерины Николаевны. Это – мужская судьба. Женщина есть лишь встретившаяся в этой судьбе трудность, она не сама по себе интересует Достоевского, а лишь как внутреннее явление мужской судьбы. У Достоевского нельзя найти культа вечной женственности. И то особенное отношение, которое у него было к матери – сырой земле и к Богородице, не связано никак с его женскими образами и с изображением любви. Лишь в образе Хромоножки как будто что-то приоткрылось. Но и это обычно слишком преувеличивают. Достоевского интересует Ставрогин, а не Хромоножка. Она была лишь его судьбой. В своем творчестве Достоевский раскрывает трагический путь своего мужского духа, который был для него путем человека. Женщина играла большую роль на этом пути. Но женщина есть лишь соблазн и страсть мужчины. У Достоевского нет ничего подобного проникно-

вению Толстого в женские образы Анны Карениной или Наташи. Анна Каренина не только имеет самостоятельную жизнь, но она главное центральное лицо. Настасья Филипповна и Грушенька – лишь стихии, в которые погружены судьбы мужчин, они не имеют своей собственной судьбы. Судьба Мышкина и Рогожина интересует Достоевского, а Настасья Филипповна есть то, в чем осуществляется эта судьба. Он не способен жить с Настасьей Филипповной так, как Толстой жил с Анной Карениной. Женская inferнальность интересует Достоевского лишь как стихия, пробуждающая мужскую страсть и раздваивающая личность мужчины. Мужчина оказывается замкнутым в себе, он не выходит из себя в другое, женское бытие. Женщина есть лишь сведение мужских счетов с самим собою, лишь решение своей мужской, человеческой темы.

Судьба человека для Достоевского есть судьба личности, личного начала в человеке. Но личное начало есть по преимуществу мужское начало. Поэтому у Достоевского такой исключительный интерес к мужской душе и незначительный интерес к душе женской. По истории женской души нельзя проследить судьбы человеческой личности. И поэтому женщина может быть интересна лишь как стихия и атмосфера, в которой протекает судьба мужчины, судьба личности по преимуществу. Мужчина у Достоевского приковывается к женщине страстью. Но это остается как бы его делом с самим собой, со своей страстной природой. Он никогда не соединяется с женщиной. И потому, быть может, так истерична женская природа у Достоевского, потому так надрывна, что она обречена на несоединенность с природой мужской. Достоевский утверждает безысходный трагизм любви. Он так и не раскрывает нам андрогинной человеческой природы. Человек остается у него трагически раздвоенным мужчиной, не имеющим своей Софии, своей Девы. Достоевский недостаточно сознавал, что природа человека – андрогинна, как то открывалось великим мистикам, Якову Беме и другим. И глубока у него была только постановка темы, что женщина – судьба человека. Но он сам оставался разъединенным с женской природой и познал до глубины лишь раздвоение. Человек для него – мужчина, а не андрогин».

Не приходится спорить, что у Достоевского мужские образы значительно ярче женских. Последние в романах Достоевского по большей части играют служебную роль. И в этом – тоже отличие от Толстого, у которого и мужские, и женские образы по крайней мере равнозначны. Между прочим, женские образы весьма слабы и у Гоголя, который, по всей видимости, никогда не имел сексуальных отношений, и нет уверенности, что он знал даже платоническую любовь. Хотя кандидатуры для такой любви и имеются, будь то графиня Анна Михайловна Виельгорская или Александра Осиповна Смирнова (Россет).

Также и у Михаила Булгакова, одного из самых талантливых продолжателей Гоголя и Достоевского, женские образы гораздо слабее мужских. Пилат, Воланд, братья Турбины значительно ярче Маргариты, Геллы или Елены Турбиной. Но о Булгакове никак нельзя сказать, что он никого и никогда не любил. У писателя было три жены, к каждой из которых он в определенный период времени испытывал сильное чувство.

Достоевский тоже любил, и любил сильно и страстно свою первую жену, Марию Исаеву, Аполлинарию Суслову, вторую жену Анну Сниткину. Об этих возлюбленных Достоевского мы подробно поговорим дальше. Пока же отметим, что общая слабость женских образов у писателей гоголевско-достоевского типа, очевидно, связана с какими-то важными психологическими качествами, отличающими их от Пушкина или Толстого.

Сразу бросается в глаза, что и Александр Сергеевич, и Лев Николаевич были изрядными донжуанами (Толстой – в первой половине жизни, до женитьбы на С.А. Берс). Ни Достоевский, ни Булгаков, ни тем более Гоголь в подобном замечены не были. И Федор Михайлович, и Михаил Афанасьевич, несомненно, знали страстную, чувственную любовь, но к немногим женщинам, и любовь эта не перегорала так быстро, как у Пушкина или Толстого. Те, кто написал «Евгения Онегина» и «Войну и мир», «Капитанскую дочку» и «Анну Каренину», в любви

видели женщину как равноправного с мужчиной в чувствах партнера. А вот для Булгакова и Достоевского любимые женщины были прежде всего средством выражения их собственной писательской личности, исполняли, так сказать, служебную роль. Для Гоголя же женщин в его личной жизни вообще не существовало, он их боялся и воспринимал как «сосуд греховный». Соответственно, и женские образы у данных писателей служебны, в особенности у Гоголя.

Революция 1917 года была воспринята многими современниками как сбывшееся пророчество Достоевского. И первым об этом написал тот же Николай Бердяев. В 1918 году в статье «Духи русской революции» он отмечал: «Бессмертные образы Хлестакова, Петра Верховенского и Смердякова на каждом шагу встречаются в революционной России и играют в ней немалую роль, они подобрались к самым вершинам власти. Метафизическая диалектика Достоевского и моральная рефлексия Толстого определяют внутренний ход революции...»

В образах Гоголя и Достоевского, в моральных оценках Толстого можно искать разгадки тех бедствий и несчастий, которые революция принесла нашей родине, познания духов, владеющих революцией. У Гоголя и Достоевского были художественные прозрения о России и русских людях, превышающие их время. По-разному раскрывалась им Россия, художественные методы их противоположны, но у того и у другого было поистине что-то пророческое для России, что-то проникающее в самое существо, в самые тайники природы русского человека. Толстой как художник для нашей цели не интересен. Россия, раскрывавшаяся его великому художеству, в русской революции разлагается и умирает. Он был художником статики русского быта, дворянского и крестьянского, вечное же открывалось ему как художнику лишь в элементарных природных стихиях. Толстой более космичен, чем антропологичен. Но в русской революции раскрылся и по-своему восторжествовал другой Толстой – Толстой моральных оценок, обнаружилось толстовство как характерное для русских мирозерцание и мировоззрение. Много есть русских бесов, которые раскрывались русским писателям или владели ими, – бес лжи и подмены, бес равенства, бес бесчестья, бес отрицания, бес непротivления и многие, многие другие. Все это – нигилистические бесы, давно уже терзающие Россию. В центре для меня стоят прозрения Достоевского, который пророчески раскрыл все духовные основы и движущие пружины русской революции...»

Достоевскому дано было до глубины раскрыть диалектику русской революционной мысли и сделать из нее последние выводы. Он не остался на поверхности социально-политических идей и построений, он проник в глубину и обнажил метафизику русской революционности. Достоевский обнаружил, что русская революционность есть феномен метафизический и религиозный, а не политический и социальный. Так удалось ему религиозно постигнуть природу русского социализма. Русский социализм занят вопросом о том, есть ли Бог или нет Бога. И Достоевский предвидел, как горьки будут плоды русского социализма. Он обнажил стихию русского нигилизма и русского атеизма, совершенно своеобразного, не похожего на западный. У Достоевского был гениальный дар раскрытия глубины и обнаружения последних пределов. Он никогда не остается в середине, не останавливается на состояниях переходных, всегда влечет к последнему и окончательному. Его творческий художественный акт апокалиптичен, и в этом он – поистине русский национальный гений. Метод Достоевского иной, чем у Гоголя. Гоголь более совершенный художник. Достоевский прежде всего великий психолог и метафизик. Он вскрывает зло и злых духов изнутри душевной жизни человека и изнутри его диалектики мысли. Все творчество Достоевского есть антропологическое откровение, – откровение человеческой глубины, не только душевной, но и духовной глубины. Ему раскрываются те мысли человеческие и те страсти человеческие, которые представляют уже не психологию, а онтологию человеческой природы. У Достоевского в отличие от Гоголя всегда остается образ человека и раскрывается судьба человека изнутри. Зло не истребляет окончательно человеческого образа. Достоевский верит, что путем внутренней катастрофы зло может перейти в

добро. И потому творчество его менее жутко, чем творчество Гоголя, которое не оставляет почти никакой надежды...

Для Достоевского проблема русской революции, русского нигилизма и социализма, религиозного по существу, это – вопрос о Боге и о бессмертии. «Социализм есть не только рабочий вопрос или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю» («Братья Карамазовы»). Можно было бы даже сказать, что вопрос о русском социализме и нигилизме – вопрос апокалиптический, обращенный к всеразрешающему концу. Русский революционный социализм никогда не мыслился как переходное состояние, как временная и относительная форма устройства общества, он мыслился всегда как окончательное состояние, как царство Божие на земле, как решение вопроса о судьбах человечества. Это – не экономический и не политический вопрос, а прежде всего вопрос духа, вопрос религиозный. «Ведь русские мальчишки как до сих пор орудуют? Вот, наприм., здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол... О чем они будут рассуждать? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца». Эти русские мальчишки никогда не были способны к политике, к созиданию и устройению общественной жизни. Все перемешалось в их головах, и, отвергнув Бога, они сделали Бога из социализма и анархизма, они захотели переделать все человечество по новому штату и увидали в этом не относительную, а абсолютную задачу. Русские мальчишки были нигилисты-апокалиптики. Начали они с того, что вели бесконечные разговоры в вонючих трактирах. И трудно было поверить, что эти разговоры о замене Бога социализмом и анархизмом и о переделке всего человечества по новому штату могут стать определяющей силой в русской истории и сокрушить Великую Россию. Русские мальчишки давно уже провозгласили, что все дозволено, если нет Бога и бессмертия. Осталось блаженство на земле, как цель. На этой почве и вырос русский нигилизм, который казался многим наивным и благожелательным людям очень невинным и милым явлением».

Конечно, стиль у Достоевского по сравнению с Гоголем гораздо более тяжеловесный, грубый, необработанный. Это во многом объяснялось тем, что Достоевскому, для которого критически важны были литературные заработки, приходилось торопиться, чтобы в срок сдавать очередные порции текстов для журналов. Поэтому многие предложения Достоевского так и хочется подредактировать. Однако шероховатости стиля не мешали читателям воспринимать его главные идеи о бесах, терзающих Россию и русское сознание. Достоевский первым понял, что в России социализм – это не рациональное политическое учение, как на Западе, а род религии, призванной заменить христианство, а потому нуждающейся в утверждении в обществе нехитрой максимы: «Бога нет, и все дозволено!»

И еще одно дьявольское искушение Достоевский видел в деньгах. Помните, как в «Идиоте» Настасья Филипповна искушает Ганю Иволгина стотысячной пачкой, брошенной в камин? Иосиф Бродский в статье «О Достоевском» настаивал: «Наравне с землей, водой, воздухом и огнем, – деньги суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. В этом одна из многих – возможно, даже главная – причина того, что сегодня, через сто лет после смерти Достоевского, произведения его сохраняют свою актуальность. Принимая во внимание вектор экономической эволюции современного мира, т. е. в сторону всеобщего обнищания и унификации жизненного уровня, Достоевского можно рассматривать как явление пророческое. Ибо лучший способ избежать ошибок в прогнозах на будущее – это взглянуть в него сквозь призму бедности и вины. Именно этой оптикой и пользовался Достоевский».

И он же утверждал: «Конечно же, Достоевский был неутомимым защитником Добра, то бишь Христианства. Но если вдуматься, не было и у Зла адвоката более изощренного. У клас-

сизма он научился чрезвычайно важному принципу: прежде чем изложить свои доводы, как сильно ни ощущаешь ты свою правоту и даже праведность, следует сначала перечислить все аргументы противной стороны. Дело даже не в том, что в процессе перечисления опровергаемых доводов можно склониться на противоположную сторону: просто такое перечисление само по себе процесс весьма увлекательный. В конце концов, можно и остаться при своих убеждениях; однако, осветив все доводы в пользу Зла, постулаты истинной Веры произносишь уже скорее с ностальгией, чем с рвением. Что, впрочем, тоже повышает степень достоверности.

Но не одной только достоверности ради герои Достоевского с почти кальвинистским упорством обнажают перед читателем душу. Что-то еще заставляет Достоевского выворачивать их жизнь наизнанку и разглядывать все складки и морщинки их душевной подноготной. И это не стремление к Истине. Ибо результаты его инквизиции выявляют нечто большее, нечто превосходящее саму Истину: они обнажают первичную ткань жизни, и ткань эта неприглядна. Толкает его на это сила, имя которой – всеядная прожорливость языка, которому в один прекрасный день становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на себя».

Достоевский одним из первых в мире понял, что величие и подлинное значение добра можно оценить только тогда, когда поймешь все мрачное величие и ужас зла. Он же открыл обольстительную привлекательность зла, его завораживающую силу. Не случайно же порок всегда легче воплотить в художественные образы, нежели добродетель. И давно замечено, что у Достоевского отрицательные герои куда ярче положительных, злодеи куда эффектнее праведников. И дело здесь в том, что для отрицательных героев Достоевского характерен всегда душевный разлом, внутренние противоречия, за их души ведут борьбу Бог и дьявол. Впрочем, чисто отрицательных и чисто положительных героев у Достоевского нет. Разве можно назвать, например, отрицательным героем Раскольникова, несмотря на весь ужас совершенного им преступления! А Иван Карамазов, идеолог, отстаивающий тезис, что раз Бога нет, то все дозволено, и одновременно делающий высшим мериллом нравственности слезинку невинного ребенка? Достоевский совмещал то, что прежде казалось несовместимым. И у таких злодеев, как Ставрогин или Свидригайлов, можно найти и существенные положительные черты, ибо они пребывают в состоянии душевного разлада и у них нет безоговорочного принятия зла.

В «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский писал: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человеке глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой...» Писатель осознал страшную трагедию: душа человеческая не может без зла. Раскольников, Свидригайлов, Ставрогин, Карамазовы и другие герои Достоевского иллюстрируют эту жуткую истину.

А в «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский утверждал: «Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Эту жажду страдания он, кажется, заражен искони веков».

Учитель и предтеча Бердяева Владимир Соловьев писал в «Трех речах о Достоевском»: «Достоевский никогда не идеализировал народ и не поклонялся ему как кумиру. Он верил в Россию и предсказывал ей великое будущее, но главным задатком этого будущего была в его глазах именно слабость национального эгоизма и исключительности в русском народе. Две в нем черты были особенно дороги Достоевскому. Во-первых, необыкновенная способность усваивать дух и идеи чужих народов, перевоплощаться в духовную суть всех наций – черта, которая особенно выразилась в поэзии Пушкина. Вторая, еще более важная черта, которую Достоевский указывал в русском народе, – это сознание своей греховности, неспособность возводить свое несовершенство в закон и право и успокаиваться на нем, отсюда требование лучшей жизни, жажда очищения и подвига. Без этого нет истинной деятельности ни для отдель-

ного лица, ни для целого народа. Как бы глубоко ни было падение человека или народа, какую бы скверной ни была наполнена его жизнь, он может из нее выйти и подняться, если хочет, т. е. если признает свою дурную действительность только за дурное, только за факт, которого не должно быть, и не делает из этого дурного факта неизменный закон и принцип, не возводит своего греха в правду. Но если человек или народ не мирится с своей дурной действительностью и осуждает ее как грех, это уж значит, что у него есть какое-нибудь представление, или идея, или хотя бы только предчувствие другой, лучшей жизни, того, что должно быть. Вот почему Достоевский утверждал, что русский народ, несмотря на свой видимый звериный образ, в глубине души своей носит другой образ – образ Христов – и, когда придет время, покажет Его въявь всем народам, и привлечет их к Нему, и вместе с ними исполнит всечеловеческую задачу.

А задача эта, т. е. истинное христианство, есть всечеловеческое не в том только смысле, что оно должно соединить все народы одной верой, а, главное, в том, что оно должно соединить и примирить все человеческие дела в одно всемирное общее дело, без него же и общая вселенская вера была бы только отвлеченной формулой и мертвым догматом. А это воссоединение общечеловеческих дел, по крайней мере самых высших из них, в одной христианской идее Достоевский не только проповедовал, но до известной степени и показывал сам в своей собственной деятельности. Будучи религиозным человеком, он был вместе с тем вполне свободным мыслителем и могучим художником. Эти три стороны, эти три высшие дела не разграничивались у него между собою и не исключали друг друга, а входили нераздельно во всю его деятельность. В своих убеждениях он никогда не отделял истину от добра и красоты, в своем художественном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от добра и истины. И он был прав, потому что эти три живут только своим союзом. Добро, отделенное от истины и красоты, есть только неопределенное чувство, бессильный порыв, истина отвлеченная есть пустое слово, а красота без добра и истины есть кумир. Для Достоевского же это были только три неразлучные вида одной безусловной идеи. Открывшаяся в Христе бесконечность человеческой души, способной вместить в себя всю бесконечность божества, – эта идея есть вместе и величайшее добро, и высочайшая истина, и совершеннейшая красота.

Истина есть добро, мыслимое человеческим умом; красота есть то же добро и та же истина, телесно воплощенная в живой конкретной форме. И полное ее воплощение уже во всем есть конец, и цель, и совершенство, и вот почему Достоевский говорил, что красота спасет мир».

Достоевский отождествлял истину с красотой, но не с красотой вообще, а с красотой Бога. Он же первым в русской литературе открыл красоту, привлекательность зла (в мировой литературе это сделал маркиз де Сад).

Польский писатель и поэт Чеслав Милош в статье «Достоевский и религиозное воображение Запада» утверждал: «Воплощение Бога в человека можно выразить единственно языком символов и мифов. Когда вошло в обыкновение использовать язык, апеллирующий сугубо к очевидности, Воплощение оказалось наиболее непонятым. Более того, образ бесчисленных планет, кружащих в абсолютном ньютоновском пространстве, оказался труден для согласования с верой в особую привилегию, которой Бог наделил Землю. В то время как деисты превращали Бога-Отца в абстракцию, «здро» интерпретированное христианство делало из Иисуса произносителя воодушевительных проповедей и, в лучшем случае, этический идеал. Поэтому также христианское вероучение искало нового видения для противопоставления его идее человека-бога, призванного стать собственным своим спасителем. В восемнадцатом веке отдельные умы приходят к необычной мысли, не лишенной, быть может, сродства с идеей Адама Кадмона, предвечного, до-космического человека каббалистов. Согласно Сведенборгу, Бог на небе имеет человеческий облик, следовательно, человечество Христа есть совершенное исполнение Божества. «Человеческая божественная форма» и Бог-человек в качестве единого

Бога были заимствованы у Сведенборга Блейком. Эти два фундаментальных понятия: Божественного Человечества и Человеческого Божества – по прохождении некоторого времени до того сблизилась, что сегодня некоторые исследователи ошибочно интерпретируют Блейка кем-то вроде поэтического Гегеля. Достоевский был, так сказать, лишен Бога-Отца, и единственной его надеждой было полагаться на Иисуса. Противоположность между Человеком-богом и Богом-человеком выразительно обозначена в его произведениях и показательна для его биографии. Принадлежа к кружку петрашевцев, он верил в Человеко-бога, после уверовал в Бого-человека. Однако он так никогда и не смог переступить через противоречие, содержащееся в его высказывании о выборе между Христом и истиной...

Его ересь имела причиной равно любовь к России и опасения за будущее христианства. Если образованные русские сжали несколько столетий западных интеллектуальных перемен до нескольких десятилетий, то подобным же образом они, как кажется, обогнали Запад и устами Достоевского поставили человечество перед дилеммой, которую Запад должен был открыть намного позже. Дилемма эта гласила: либо общественная справедливость ценой террора, лжи и несвободы, либо невыносимая свобода, поскольку требуют ее отсутствующий Бог и невмешивающийся Христос, как в «Легенде о Великом инквизиторе». Достоевский был убежден, что вся западная цивилизация изберет веру в человека как самоспасителя и, таким образом, окончит несвободой. Не называл ли он папу вождем коммунизма? В то же самое время, однако, он наблюдал в России отвержение христианства всей европеизированной интеллигенцией. Припертый к стене, он искал выход из ситуации, которую сам признавал как безвыходную. Он позволил себя обольстить своей эсхатологической страсти и провозгласил русских мужиков-христиан единственной надеждой человечества. Его ересь, ересь русского Христа, засвидетельствовала, что хоть он и противился другим искушениям ради разрешения своих проблем, но противостоять искушению мессианско-националистическому он оказался не в состоянии».

Строго говоря, еретической была сама мысль о возможности противопоставления Христа и Истины, ибо для христианина два этих понятия сливаются воедино. Достоевский же, обещая в случае возникновения подобной дилеммы остаться с Христом, а не с Истиной, практически загонял себя в нравственный тупик. К счастью, ему не пришлось реализовать собственную максиму о том, что Бог выше Истины, ни в литературе, ни в жизни.

И тут же Милош признает: «Однако ныне мы не можем считать религиозную мысль Достоевского лишь респектабельным памятником. Осовременивают ее грозные последствия антиномии, определившейся между наукой и миром ценностей. Многие из того, что в его времена считалось объективной, научной истиной, приоткрыло свои глубинные метафизические послышки, и наша цивилизация должна встать не перед выбором между верой и разумом, но между двумя комплексами ценностей, выступают они приоткрыто или нет. Возможно, биологи, такие как Жак Монод, заходят слишком далеко, осмеливаясь предполагать, что «анимистическая традиция была записана в генетический код нашего вида». Но даже если забыть о генетике, история двадцатого века способна подтвердить точность уравнения, выведенного в «Легенде о Великом инквизиторе» Достоевского. Прискорбно. Уравнение сводится к следующему: люди могут сколь угодно упорствовать, но все же принуждены выбирать – и не имеют большого выбора».

В XX веке человечество слишком часто оказывалось в ситуации дьявольского выбора между плохим и скверным, чтобы не понять героев Достоевского. В то же время в трудах Федора Михайловича отразились многие черты русского национального характера. Известный поэт и критик русской эмиграции Сергей Маковский незадолго до смерти говорил: «Мы сотворены по образу и подобию героев Достоевского. Нам бы учиться, а мы все в учителя норювим, весь мир хотим переделать», имея в виду отсутствие у русских порядка, ясности и верности данным обещаниям. До сих пор идут споры, зло или благо русский мессианизм, так ярко изображенный Достоевским. Но что интересно: если в своей публицистике писатель вдохно-

венно проповедовал русскую идею, призванную оздоровить мир, то в прозе героями-мессиями оказывались отнюдь не положительные герои вроде Раскольникова, Свидригайлова, Ставрогина или даже младшего Верховенского. Думаю, что Федора Михайловича до самой кончины мучили сомнения, действительно ли русский народ – народ-мессия и не выступят ли от его имени лжемессии.

Для Достоевского атеизм был абсолютным злом, он и роман под таким названием задумывал. Истинными же христианами и носителями добродетели у него могли быть только люди православные. На самом-то деле жизнь гораздо сложнее, что, кстати сказать, отразилось в романах Достоевского. История знает множество примеров, когда люди, верившие в Бога и считавшие себя христианами или представителями иных конфессий, совершали чудовищные злодеяния. В то же время многие убежденные атеисты не только совершали, например, выдающиеся научные открытия, но и оставили нам образцы гражданского мужества и высокого гуманизма. Что, разумеется, не отвергает того обстоятельства, что среди христиан и других людей, верующих в Бога, были люди весьма достойные, а среди атеистов и агностиков нередко встречались законченные злодеи. Давно замечено, что атеизм – это род веры, пусть и отрицательной. Если верующие верят в то, что Бог есть (хотя в его восприятии различные конфессии весьма сильно различаются между собой), то атеисты верят, что Бога нет, агностики же не верят ни в существование Бога, ни в его отсутствие. И беда наступает не от веры или атеизма как таковых. Беда наступает тогда, когда люди ударяются в человекобожие, воздвигают себе земных кумиров. Страшны не вера или атеизм сами по себе, а те выводы, которые из них делаются. И Достоевский, может быть, помимо своей воли показал это в своих произведениях. Из атеистов безусловным носителем зла из главных героев у него оказывается только Петр Верховенский. Другие же атеисты либо в конечном счете приходят к Богу, как Раскольников, либо мечутся между верой и неверием (что было свойственно в разные периоды жизни самому Достоевскому) и в конце концов погибают (Свидригайлов, Ставрогин). Что же касается наиболее убежденного атеиста в последнем романе писателя, Ивана Карамазова, то этот герой в финале приходит к пагубности даже не атеизма как такового, а тех следствий, которые он из него делал: «Если Бога нет, то все дозволено!» И рука не поднимается зачислить Ивана в настоящие злодеи. Зато истинным злодеем оказывается Великий инквизитор, вроде бы верующий, но вздумавший себя поставить на место Христа. Так что Достоевский боролся в сущности не против атеизма, католицизма и социализма, которые считал главным злом современного мира, а против человекобожия. При этом Достоевский-психолог в романах брал верх над Достоевским-идеологом. Наиболее идеологизированные его герои, вроде Раскольникова, Свидригайлова, Ставрогина, Ивана Карамазова, Великого инквизитора, в то же время – очень психологически убедительные образы, сотканые из душевных противоречий и борений, не укладывающиеся в стереотипы отрицательных или положительных героев.

Бердяев и другие русские религиозные философы вскрыли в романах и образах Достоевского прежде всего именно это сочетание религиозности и психологизма, доказав, что экзальтированная религиозность свойственна у писателя и заведомым атеистам, что религиозный взгляд пронизывает у Достоевского все сугубо жизненные и житейские проблемы, что у него впервые с такой остротой поставлены последние, проклятые, никогда до конца не разрешимые человечеством вопросы.

«Преступление и наказание»

Родион Раскольников: воскрешение великого грешника

Роман «Преступление и наказание» был впервые опубликован в 1866 году в журнале «Русский вестник» и сразу же вызвал живейший интерес публики, так что в следующем году последовало отдельное издание.

17 сентября 1863 года возлюбленная Достоевского А. П. Сулова, находившаяся вместе с ним в Турине, записала в дневнике: «Когда мы обедали, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: «Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «Истребить весь город». Всегда так было на свете». Здесь уже присутствует идея нового Наполеона, готового на убийство ради утверждения своего права убивать, т. е. быть великой личностью, а не «тварью дрожащей».

8 июня 1865 года перед отъездом за границу Достоевский предложил А.А. Краевскому – редактору журнала «Отечественные записки» и газеты «Голос» – роман «Пьяненькие», который «будет связан с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и проч. Листов будет не менее двадцати, но может быть и более». Оттуда в «Преступление и наказание» вошли образ «пьяненького» чиновника Мармеладова, трагические картины жизни его семьи и описание участи его детей.

Проблема пьянства на Руси волновала Достоевского на всем протяжении его творческого пути. Мягкий и несчастный Снегирев произносит: «...в России пьяные люди у нас и самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные. Добрыми становятся люди в ненормальном состоянии. Каков же нормальный человек? Злой. Пьют добрые, но плохо поступают тоже добрые. Добрые забыты обществом, жизнью правят злые. Если в обществе процветает пьянство, то это означает, что в нем не ценятся лучшие человеческие качества».

В «Дневнике писателя» автор обращает внимание на пьянство фабричных после отмены крепостного права: «Народ закутил и запил – сначала с радости, а потом по привычке». Достоевский показывает, что и при «переломе огромном и необыкновенном» не все проблемы решаются сами собою. И после «перелома» необходима правильная ориентация людей. Многое тут зависит от государства. Однако государство фактически поощряет пьянство и рост числа кабаков: «Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, т. е. по-теперешнему народное пьянство и народный разврат – стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашей платим за наш величавый бюджет европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод».

Достоевский показывает, что это происходит от неумения вести хозяйство страны. Случись чудо, – люди все разом перестанут пить, – государству пришлось бы выбирать: либо заставить их пить силой, либо – финансовый крах. По Достоевскому причина пьянства социальна. Если государство отказывается заботиться о будущем народа, о нем будет думать художник: «Пьянство. Пусть ему те радуются, которые говорят: чем хуже, тем лучше. Таких теперь много. Мы же не можем без горя видеть отравленными корни народной силы». Эта запись была сделана Достоевским в черновиках, а по существу эта мысль изложена в «Дневнике писателя»: «Ведь иссякает народная сила, гложет источник будущих богатств, бледнеет ум и развитие, – и что вынесут в уме и в сердце своем современные дети народа, выросшие в скверне отцов своих».

Исследователи давно уже пришли к выводу, что семейство Мармеладовых во многом списано Достоевским с семейства его первой жены М.Д. Исаевой, в которой обыкновенно видят

прототип Катерины Ивановны Мармеладовой. Но, похоже, Мария Дмитриевна послужила прототипом не только этой героини в «Преступлении и наказании».

Для прояснения этого вопроса обратимся к истории знакомства и любви Достоевского и М.Д. Исаевой. Они познакомились в Семипалатинске, куда Достоевский был направлен после освобождения из каторжной тюрьмы в Омске. 2 марта 1854 года он был зачислен рядовым в местный 7-й саперный линейный батальон.

Прототипом Мармеладова послужил муж первой жены Достоевского. Сам Достоевский характеризовал время каторги как «страдание невыразимое, бесконечное». Через несколько недель после переезда в Семипалатинск он сообщал брату Михаилу: «Покамест я занимаюсь службой и припоминаю старое. Здоровье мое довольно хорошо, и в эти два месяца много поправилось». Достоевский физически окреп, нервные припадки стали редкими.

Начальник Достоевского, подполковник Беликов, читать не любил, предпочитая слушать. Вот Достоевский и занимался у него «чтением вслух» книг и газет. Благодаря Беликову началось знакомство Достоевского с семипалатинским обществом. Позднее ему разрешено было снять комнату «с пансионом». Хозяйка квартиры открыто торговала молодостью и красотой двоих своих дочерей 20 и 16 лет.

Достоевскому, по его словам, пришлось испытать среди каторжан «все мщенье и преследование, которыми они (каторжане) живут и дышат к дворянскому сословию». «Но вечное сосредоточение в самом себе, – писал он брату 22 февраля 1854 года, – куда я убежал от горькой действительности, принесло свои плоды». Достоевский пришел к вере в Бога. Барон А. Е. Врангель взял его там под свое покровительство, во многом облегчив его положение.

Супруги Исаевы приехали из Астрахани в Петропавловск в 1851 году, где Александр Иванович получил место чиновника особых поручений при начальнике Сибирского таможенного округа. Но уже на следующий год семья Исаевых обустраивается в Семипалатинске. На момент знакомства с Ф.М. Достоевским Исаев лишился места по конфликту с начальством из-за участвовавших запоев. При этом он, по словам Достоевского, был «натура сильно развитая, добрейшая. Он был образован, понимал все».

Сама Мария Дмитриевна происходила из довольно обеспеченной семьи потомков французских эмигрантов, ее отец Д.С. Констант был директором Астраханского карантинного дома. Мария родилась в Таганроге в 1824 году, получила хорошее домашнее воспитание, училась в женском пансионе, а затем в Астраханском институте благородных девиц, где особенно отличилась на выпускных экзаменах по классу музыки и французскому языку. В 1846 году она вышла замуж за чиновника особых поручений при Астраханском комитете по перевозке казенного провианта А.И. Исаева, выходца из потомственных дворян Олонекской губернии. В следующем году у них родился сын Паша.

Ко времени знакомства с Достоевским муж Исаевой уже несколько месяцев был без работы и сильно пил. Состояния Исаевы не имели, а кое-какие сбережения таяли, и нужда стучала в дверь их дома.

Почти все свободное время писатель проводил у Исаевых. В Марии Дмитриевне его привлекала необычайная впечатлительность, резкие порывистые движения, манера говорить. Достоевский писал брату о своей возлюбленной: «Эта дама еще молодая, 28 лет, хорошенькая, очень образованная, очень умная, добра, мила, грациозна, с превосходным, великодушным сердцем... Характер ее, впрочем, был веселый и резвый. Я почти не выходил из их дома. Что за счастливые вечера проводил я в ее обществе! Я редко встречал такую женщину».

Барон Александр Егорович Врангель, друг Достоевского, занимавший в Семипалатинске должность стряпчего по уголовным и гражданским делам, т. е. прокурора, в своих мемуарах наиболее полно описал, как развивался роман Марии Дмитриевны и Федора Михайловича. Он вспоминал: «Особенно часто он (Достоевский. – Б. С.) навещал семью Исаевых. Сидел у них по вечерам и согласился давать уроки их единственному ребенку – Паше, шустрому мальчику

восьми-девяти лет. Мария Дмитриевна Исаева была, если не ошибаюсь, дочь директора гимназии в Астрахани и вышла там замуж за учителя Исаева. Как он попал в Сибирь – не помню. Исаев был больной, чахоточный и сильно пил. Человек он был тихий и смирный. Марии Дмитриевне было лет за тридцать; довольно красивая блондинка среднего роста, очень худошавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловещий румянец играл на ее бледном лице, и несколько лет спустя чахотка унесла ее в могилу. Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна. В Федоре Михайловиче она приняла горячее участие, приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека. Возможно, что даже привязалась к нему, но влюблена в него ничуть не была. Она знала, что у него падучая болезнь, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он «без будущности», говорила она. Федор же Михайлович чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в нее со всем пылом молодости. Достоевский пропадал у Исаевых по целым дням...

Однажды Федор Михайлович является домой хмурый, расстроенный и объявляет мне с отчаянием, что Исаев переводится в Кузнецк, верст за 500 от Семипалатинска. «И ведь она согласна, не противоречит, вот что возмутительно!» – горько твердил он.

Действительно, вскоре состоялся перевод Исаева в Кузнецк. Отчаяние Достоевского было беспредельно; он ходил как помешанный при мысли о разлуке с Марией Дмитриевной; ему казалось, что все для него в жизни пропало. А тут у Исаевых оказались долги, пришлось все распродать – и двинуться в путь все же было не на что. Выручил их я, и собрались они наконец в путь-дорогу...

Сцену разлуки я никогда не забуду. Достоевский рыдал навзрыд, как ребенок. Много лет спустя он напоминает мне об этом в своем письме от 31 марта 1865 года. Да! памятный это был день.

Мы поехали с Федором Михайловичем провожать Исаевых, выехали поздно вечером, чудною майскою ночью; я взял Достоевского в свою линейку. Исаевы поместились в открытую перекладную телегу – купить кибитку у них не было средств. Перед отъездом они заехали ко мне, на дорожку мы выпили шампанского. Желая доставить Достоевскому возможность на прощание поворковать с Марией Дмитриевной, я еще у себя здорово накатал шампанским ее муженька. Дорогою, по сибирскому обычаю, повторил; тут уж он был в полном моем распоряжении; немедленно я его забрал в свой экипаж, где он скоро и заснул как убитый. Федор Михайлович пересел к Марии Дмитриевне. Дорога была как укатанная, вокруг густой сосновый бор, мягкий лунный свет, воздух был какой-то сладкий и томный. Ехали, ехали... Но пришла пора и расстаться. Обнялись мои голубки, оба утирали глаза, а я перетаскивал пьяного, сонного Исаева и усаживал его в повозку; он немедленно же захрапел, по-видимому, не сознавая ни времени, ни места. Паша тоже спал. Дернули лошади, тронулся экипаж, поднялись клубы дорожной пыли, вот уже еле виднеется повозка и ее седоки, затихает почтовый колокольчик... а Достоевский все стоит как вкопанный, безмолвный, склонив голову, слезы катятся по щекам. Я подошел, взял его руку – он как бы очнулся после долгого сна и, не говоря ни слова, сел со мною в экипаж. Мы вернулись к себе на рассвете. Достоевский не прилег – все шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собою. Измученный душевной тревогой и бессонной ночью, он отправился в близлежащий лагерь на учение. Вернувшись, лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку за другой...

Время взяло свое, и это болезненное отчаяние начало улегаться. С Кузнецком началась усиленная переписка, которая, однако, не всегда радовала Федора Михайловича. Он чувал что-то недоброе. К тому же в письмах были вечные жалобы на лишения, на свою болезнь, на неизлечимую болезнь мужа, на безотрадное будущее – все это не могло не угнетать Федора Михайловича. Он еще более похудел, стал мрачен, раздражителен, бродил как тень. Он даже бросил свои «Записки из Мертвого дома», над которыми работал так недавно с таким увлечением.

Любимое времяпрепровождение было, когда мы в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцание величия Творца, всеведомой, всемогущей Божеской силы навело на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества, как-то смиряло наш дух. О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом...

Конечно, нужда материальная изводила его, а тут еще из Кузнецка шли безотрадные вести, одна тревожнее другой. М. Д. Исаева, уехав в глушь с мужем, пьяным и вечно больным, томилась и скучала. Все письма ее были переполнены жалобами на свое полное одиночество, на страшную потребность обменяться живым словом, отвести душу. В последующих письмах все чаще и чаще ею стало упоминаться имя нового знакомого в Кузнецке, товарища мужа Марии Дмитриевны, симпатичного молодого учителя. С каждым письмом отзывы о нем становились все восторженнее и восторженнее, восхвалялась его доброта, его привязанность и его высокая душа. Достоевский терзался ревностью; жутко было смотреть на его мрачное настроение, отражавшееся на его здоровье.

Мне страшно стало жаль его, и я решил устроить ему свидание с Марией Дмитриевной на полпути между Кузнецком и Семипалатинском в Змиеве, куда еще недавно нас так радушно зывал горный генерал Гернгросс.

Очень я рассчитывал также, что эта встреча и объяснение положат конец несчастному роману Достоевского. Но вот в чем была задача: как довезти Федора Михайловича туда, за 160 верст от Семипалатинска, так, чтобы эта поездка осталась тайной. Как я уже говорил выше, начальство таких дальних поездок не разрешало. Губернатор и батальонный командир Федора Михайловича наотрез уж два раза отказали отпустить его со мною в Змиев. Ну, думаю, была не была. Открыл мой план Достоевскому. Он радостно ухватился за него; совсем ожил мой Федор Михайлович, больно уж влюблен был бедняга. Немедля я написал в Кузнецк Марии Дмитриевне, убеждая ее непременно приехать к назначенному дню в Змиев. В городе же распустил слух, что после припадка Федор Михайлович так слаб, что лежит. Дал знать и батальонному командиру Достоевского; говорю: «болен бедняга, лежит, и лечит его военный врач Lamotte». А Lamotte, конечно, за нас, друг наш был, чудной, благородной души человек, поляк, студент бывшего Виленского университета, выслан был сюда на службу из-за политического какого-то дела. Прислуге моей было приказано всем говорить, что Достоевский болен и лежит у нас. Закрыли ставни, чтобы как будто не потревожить больного. Велено никого не принимать. На счастье наше все высшее начальство, начиная с военного губернатора, только что выехало в степи...

Еще в половине августа, находясь по делам службы в Бийске, я неожиданно получил очень возбужденное письмо от Достоевского. Он извещал меня о смерти Исаева. Все письмо дышит самой трогательной заботливостью о Марии Дмитриевне...

Привязанность Достоевского к Исаевой всегда была велика, но теперь, когда она осталась одинока, Федор Михайлович считает прямо целью своей жизни попечение о ней и ее сироте Паше. Надо знать, что ему хорошо было известно в то время, что Марии Дмитриевне нравится в Кузнецке молодой учитель Вергунов, товарищ ее покойного мужа, личность, как говорили, совершенно бесцветная. Я его не знал и никогда не видал. Не чуждо, конечно, было Достоевскому и чувство ревности, а потому тем более нельзя не преклоняться перед благородством его души: забывая о себе, он отдавал себя всецело заботам о счастии и спокойствии Исаевой.

А как тягостно было его состояние духа, удрученное желанием устроить Марию Дмитриевну, видно из его писем; например, вот несколько строк из письма Достоевского к Майкову от 18 января 1856 года:

«Я не мог писать. Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и наконец посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать. Потом грусть и горе посетили меня».

Какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у Федора Михайловича, судите сами, читая его заботливые хлопоты о своем сопернике – учителе В<ергунове>. В одном письме ко мне, о котором упоминает Орест Миллер в своем сборнике и которое затеряно, Достоевский пишет: «на коленях» готов за него (за учителя В<ергунова>) просить. Теперь он мне дороже брата родного, не грешно просить, он того стоит... Ради Бога, сделайте хоть что-нибудь – подумайте, и будьте мне братом родным». Много ли найдется таких самоотверженных натур, забывающих себя для счастья другого.

Но вот 21 декабря 1856 года судьба наконец улыбнулась Федору Михайловичу. В письме от 21 декабря 1856 года Достоевский пишет мне: «Если не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь, – Вы знаете на ком. Она же любит меня до сих пор... Она сама мне сказала: «Да». То, что я писал Вам об ней летом, слишком мало имело влияния на ее привязанность ко мне. Она меня любит. Это я знаю наверно. Я знал это и тогда, когда писал Вам летом письмо мое. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности... Еще летом по письмам ее я знал это. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б Вы знали, что такое эта женщина!»

Так благополучно, наконец, завершился роман Достоевского, который захватил его всего, стоил ему бессонных ночей, тревоги, здоровья и денег, но... едва ли дал ему настоящее счастье».

П.П. Семенов-Тяньшанский, знавший Достоевского еще по кружку петрашевцев, навещал его в Семипалатинске. Он вспоминал: «Тут только для меня окончательно выяснилось все его нравственное и материальное положение. Несмотря на относительную свободу, которой он уже пользовался, положение было бы все же безотрадным, если бы не светлый луч, который судьба послала ему в его сердечных отношениях к Марье Дмитриевне Исаевой, в доме и общении которой он находил себе ежедневное прибежище и самое теплое участие.

Молодая еще женщина (ей не было и тридцати лет), Исаева была женой человека достаточно образованного, имевшего хорошее служебное положение в Семипалатинске и скоро, по водворении Ф.М. Достоевского, ставшего к нему в приятельские отношения и гостеприимно принимавшего его в своем доме. Молодая жена Исаева, на которой он женился еще во время своей службы в Астрахани, была астраханская уроженка, окончившая свой курс учения с успехом в Астраханской женской гимназии, вследствие чего она оказалась самой образованной и интеллигентной из дам семипалатинского общества. Но независимо от того, как отзывался о ней Ф.М. Достоевский, она была «хороший человек» в самом высоком значении этого слова. Сошлись они очень скоро. В своем браке она была несчастлива. Муж ее был недурной человек, но неисправимый алкоголик, с самыми грубыми инстинктами и проявлениями во время своей невменяемости. Поднять его нравственное состояние ей не удалось, и только заботы о своем ребенке, которого она должна была ежедневно охранять от невменяемости отца, поддерживали ее. И вдруг явился на ее горизонте человек с такими высокими качествами души и с такими тонкими чувствами, как Ф.М. Достоевский. Понятно, как скоро они поняли друг друга и сошлись, какое теплое участие она приняла в нем и какую отраду, какую новую жизнь, какой духовный подъем она нашла в ежедневных с ним беседах и каким и она в свою очередь служила для него ресурсом во время его безотрадного пребывания в не представлявшем никаких духовных интересов городе Семипалатинске.

Во время моего первого проезда через Семипалатинск в августе 1856 года Исаевой уже там не было, и я познакомился с ней только из рассказов Достоевского. Она переехала на жительство в Кузнецк (Томской губернии), куда перевели ее мужа за непригодность к исполнению служебных обязанностей в Семипалатинске. Между нею и Ф.М. Достоевским завязалась

живая переписка, очень поддерживавшая настроение обоих. Но во время моего проезда через Семипалатинск осенью обстоятельства и отношения обоих сильно изменились. Исаева овдовела, и хотя не в состоянии была вернуться в Семипалатинск, но Ф.М. Достоевский задумал о вступлении с ней в брак. Главным препятствием к тому была полная материальная необеспеченность их обоих, близкая к нищете...

В январе 1857 года я был обрадован приездом ко мне Ф.М. Достоевского. Списавшись заранее с той, которая окончательно решила соединить навсегда свою судьбу с его судьбой, он ехал в Кузнецк с тем, чтобы устроить там свою свадьбу до наступления Великого поста. Достоевский пробыл у меня недели две в необходимых приготовлениях к своей свадьбе. По несколько часов в день мы проводили в интересных разговорах и в чтении, глава за главой, его в то время еще не оконченных «Записок из Мертвого дома», дополняемых устными рассказами.

Понятно, какое сильное, потрясающее впечатление производило на меня это чтение и как я живо переносился в ужасные условия жизни страдальца, вышедшего более чем когда-либо с чистой душой и просветленным умом из тяжелой борьбы, в которой «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Конечно, никакой писатель такого масштаба никогда не был поставлен в более благоприятные условия для наблюдения и психологического анализа над самыми разнообразными по своему характеру людьми, с которыми ему привелось жить так долго одной жизнью. Можно сказать, что пребывание в «Мертвом доме» сделало из талантливого Достоевского великого писателя-психолога.

Но не легко достался ему этот способ развития своих природных дарований. Болезненность осталась у него на всю жизнь. Тяжело было видеть его в припадках падучей болезни, повторявшихся в то время не только периодически, но даже довольно часто. Да и материальное положение его было самое тяжелое, и, вступая в семейную жизнь, он должен был готовиться на всякие лишения и, можно сказать, на тяжелую борьбу за существование».

Как видим, роман Достоевского с Исаевой был бурным, отнюдь не гладким, и даже после того, как 4 августа 1855 года А.И. Исаев скоропостижно скончался, влюбленные, разделенные сотнями километров сибирских степей, далеко не сразу соединились. При этом у Федора Михайловича появился соперник, который вначале, казалось, был удачливее его и значительно состоятельнее в материальном отношении.

По свидетельству З.А. Сытиной (Гейбович), дочери ротного командира 7-го Сибирского линейного батальона, под чьим командованием служил Достоевский, в Семипалатинске писатель расходовал свои более чем скромные средства на помощь бедным: «Получаемые им из России деньги расходовались, кроме домашних нужд, которые были очень умеренны, большею частью на бедных. Я очень хорошо знаю, что Достоевский долго содержал в Семипалатинске слепого старика татарина с семейством, и я сама несколько раз ездила с Марьей Дмитриевной, когда она отвозила месячную провизию и деньги этому бедному слепому старику».

Итак, романтическая драма, согласно воспоминаниям современников и сохранившимся письмам, развивалась следующим образом. В конце мая 1855 года семейство А.И. Исаева переезжает из Семипалатинска в город Кузнецк Томской губернии, где Исаев получил должность заседателя по корчемной части (т. е. по управлению трактирами). В августе 1855 года Достоевский получает от Марии Дмитриевны извещение о смерти мужа. Овдовевшая женщина рассказывала, что похоронила мужа на чужие деньги, что у нее ничего не осталось, кроме долгов, что кто-то прислал ей три рубля. «Достоевский немедленно выслал Марии Дмитриевне значительную сумму денег, которую сам занял с трудом. Тогда он начал хлопотать о приеме ее старшего сына в учебное заведение на казенный счет. Исаевой также помогла жена местного исправника, богача и хлебосола, Анна Николаевна Катанаева.

Узнав, что Мария Дмитриевна свободна, Достоевский отправил в Кузнецк письмо, в котором просил ее руки. Но Исаева опасалась выходить замуж за человека без средств, лишенного всех прав состояния.

А в письмах любимой Достоевский теперь заметил сдержанность и даже некоторый холодок. В одном из писем Маша спрашивала, как ей поступить и что ответить человеку, который сделал ей предложение. Этим человеком был учитель рисования местного уездного училища Николай Борисович Вергунов, уроженец Томска, не так давно переведенный в Кузнецк. Молодой человек приятной наружности, с твердым жалованьем и непьющий, был благосклонно принят вдовой, которая была старше его на восемь лет. Но ответа на предложение руки и сердца она ему не давала, не решаясь сделать выбор между ним и Достоевским.

Весть о предполагаемом замужестве Исаевой взволновала Достоевского. И он решился съездить в Кузнецк, хотя, как ссыльный, и не имел на это права. В июне 1856 года, отправившись по служебным делам в Барнаул, Достоевский на обратном пути рискнул заехать в Кузнецк. «Я готов под суд идти, только бы с ней видеться», – признавался впоследствии писатель. Два дня пребывания в Кузнецке пролетели быстро. Достоевский уехал с тяжелым сердцем. Хотя Мария Дмитриевна снова говорила, что никто не разлучит их, но он знал, что пройдет несколько дней – и все может измениться.

И едва он вернулся в Семипалатинск, как сразу получил несколько писем, в которых Мария Дмитриевна писала, что она, вероятно, выйдет замуж за Вергунова. Федор Михайлович сделал благородный жест – хлопотал перед А.Е. Врангелем о предоставлении Вергунову более выгодного места в Томске с окладом в 1000 рублей годовых.

1 октября 1856 года, после долгих и настойчивых хлопот его друзей, писатель наконец получил приказ о производстве его в прапорщики. Мария Дмитриевна сердечно поздравила его, но по-прежнему не говорила ни «да», ни «нет». И тогда Достоевский в конце ноября 1856 года, получив недельный отпуск, едет в Кузнецк. Возвратившись в Семипалатинск, Достоевский писал Врангелю: «Если не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь – Вы знаете на ком. Никто, кроме этой женщины, не составит моего счастья...»

Денег на свадьбу не было, но опять помогла А.Н. Катанаева. Время, пока он дожидался свадьбы, Достоевский назвал «самым критическим моментом всей жизни».

В конце января 1857 года он в третий раз выезжает в Кузнецк, чтобы сочетаться браком с М.Д. Исаевой. 6 февраля 1857 года, в день, назначенный для бракосочетания, Одигитриевская церковь была полна народом. Благодаря Катанаевой свадьба вышла довольно пышная. Дочь чиновника Т.М. Темезова, которая присутствовала в церкви, вспоминала: «За народом едва можно было протолкаться вперед... Конечно, присутствовало в церкви все лучшее кузнецкое общество. Достоевский был в веселом расположении духа, шутил, смеялся». Это довольно интересный факт. Как известно, Достоевский отличался характером необщительным, даже мрачным. Очевидно, здесь, в Кузнецке, под влиянием близости любимого существа, вдали от служебных обязанностей, Федор Михайлович чувствовал себя если не вполне счастливым, то удовлетворенным более или менее. Когда устраивались карты, Федор Михайлович не отказывался принимать участия, случалось ему, как другим, выигрывать или проигрывать.

Нередко видели Достоевского в его военном плаще, гуляющим по улицам города вместе с Марией Дмитриевной. Посещал он часто венчавшего его священника Евгения Тюменцева, которому после прислал в подарок свою автобиографию.

В метрической книге Одигитриевской церкви под № 17 появилась запись: «Повенчаны: служащий в Сибирском линейном батальоне № 7, прапорщик Федор Михайлович Достоевский, православного вероисповедания, первым браком, 34 лет. Невеста его: вдова Мария Дмитриевна, жена умершего заседателя по корчемной части, коллежского секретаря Александра Исаева, православного вероисповедания, вторым браком».

Шафером со стороны жениха выступал Николай Вергунов. И это сообщало большую напряженность бракосочетанию и раскрывало в празднике венчания сложную внутреннюю драму соперничества, ревности и вражды. К какому жестокому и грозному финалу мог бы привести такой накал страстей? К бегству невесты из-под венца, к убийству мучительницы любов-

ником, к сумасшествию покинутого жениха? Через 12 лет Достоевский увековечит эту драму в своем гениальном романе о грешнице, полюбившей праведника и убитой сладострастником».

Здесь имеется в виду судьба Настасьи Филипповны в «Идиоте».

Перед самым отъездом из Кузнецка на могилу Исаева была положена чугунная плита, изготовленная по распоряжению Марии Дмитриевны.

Вергунов же по ходатайству Достоевского получил-таки искомое место в Томске. 21 декабря 1856 года, когда вопрос о свадьбе был решен, Достоевский писал Врангелю: «...Еще просьба: об ней прошу Вас на коленях. Помните, я Вам писал летом про Вергунова. Я просил Вас ходатайствовать за него у Гасфорта. Теперь он мне дороже брата родного...»

Однако со стороны место Вергунову в Томске выглядело как отступное. Вскоре после свадьбы тот перебрался из Томска в Семипалатинск, где жили Достоевский с Машей. Правда, когда Достоевский в начале июля 1859 года выехал с женой и пасынком в Тверь, Вергунов за ними не последовал, остался в Семипалатинске, затем в 1863 году переехал в Барнаул, где женился, но в 1869 году опять вернулся в Семипалатинск. Там он и умер в следующем году, прожив всего лишь 38 лет. Быть может, его здоровье было подорвано несчастной любовью к Исаевой.

Дочь Достоевского Любовь, появившаяся на свет в 1869 году, через пять лет после смерти Марии Дмитриевны, утверждала в мемуарах, будто ночь накануне свадьбы Исаева провела с Вергуновым, а потом их связь возобновилась в Семипалатинске. Откуда получила такие сведения Любовь Федоровна, неизвестно. Во всяком случае, версия о том, что в самый канун свадьбы Мария Дмитриевна изменила жениху с прежним любовником, больше походит на легенду. Кузнецк тогда был городом маленьким, все про всех всё знали, и такая скандальная подробность, как измена невесты накануне свадьбы, вряд ли бы прошла мимо ушей кузнецких обывателей. Маловероятно также, чтобы Мария Дмитриевна и Николай Борисович решились на связь в Семипалатинске, где ее вряд ли можно было бы скрыть от Достоевского. Скорее всего Вергунов последовал за ускользнувшим от него предметом его любви с чисто платоническими чувствами.

Федор Михайлович любил Марию Дмитриевну, но брак их не был счастливым. После смерти жены Достоевский признался: «Мы не жили с ней счастливо». Но в женские образы своих романов он вложил черты женщины, впервые подарившей ему любовь, но заставившей страдать.

16 апреля 1864 года умерла жена. После ее смерти Достоевский записал в дневнике: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?»

Е.Ф. Соловьева писала в посвященном Достоевскому биографическом очерке павленковской серии «ЖЗЛ», появившейся в 1912 году: «Хотя Достоевский и вышел из острога больной (у него появилась падучая), без денег, но жажда жизни была сильнее всего: он поспешил влюбиться. Его любовь, как, кажется, первая в жизни, была настоящей страстью. Как страсть, она вызывала ужасные муки томления, ревности. По-видимому, и М. Д. была не из спокойных людей, а такая же подозрительная, ревнивая, мучительная натура, как и Достоевский. Легко вообразить себе их взаимные отношения, особенно если припомнить, что оба в то время были буквально нищие люди, что еще увеличивало их и так уже тревожное настроение. Достоевский любил, по-видимому, с каким-то самоотвержением. По крайней мере, когда после одной из бесчисленных ссор и «расставаний» будущая жена его увлеклась кем-то другим, вот что писал он о ней барону Врангелю, не совсем удачно приняв на себя (вернее, вообразив) роль друга: «Нельзя ли пошевелить это дело (то есть выдачу пособия), чтобы оно разрешилось в пользу Марьи Дмитриевны. В ее положении такая сумма целый капитал, а в теперешнем положении – ее единственный выход. Я трепещу, чтобы она, не дождавшись этих денег, не вышла замуж. У него (кто это он – неизвестно) ничего нет, у ней – тоже». После этой ссоры влюбленные, однако, примирились. Через несколько месяцев Достоевский пишет тому же Врангелю: «Если

не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь – вы знаете, на ком. Она же (Марья Дмитриевна) любит меня до сих пор. Она сама сказала мне «да». То, что я писал вам об ней летом (об ее увлечении другим), мало имело влияния на ее привязанность ко мне. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще летом, по письмам ее, я знал об этом. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б вы знали, что это за женщина!» Это уже тон восторженно влюбленного. Повторяю, эпизод очень характерный, хотя и страшно скомканный, как в биографии, так и в воспоминаниях и даже в письмах. Любопытна вот какая черта: Достоевский, сам страстно влюбленный, берет на себя роль друга во время разрыва, устраивает, по крайней мере, заботится о чужом благополучии наперекор собственному, и это несмотря на свою страсть, на всю свою ревность. Момент сложный, едва затронутый самим Достоевским в его романе «Бесы»... Что это – самопожертвование, психопатическое смирение или, наконец, невероятная способность самосочинения, которой так много у Достоевского? Вообразил себя человек вот таким-то, потом и действует по воображаемому образцу.

Но все же несомненно, что Достоевский любил. Сам он впоследствии (1865 г.), в письме к Врангелю, так характеризует свою семейную жизнь с Марьей Дмитриевной: «Другое существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей от чахотки. Я переехал вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 1864 г., и 16 апреля прошлого года она скончалась, в полной памяти, прощаясь, вспоминала всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспомнила и об вас. Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с нею счастливо. Все расскажу вам при свидании, – теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру), мы не могли перестать любить друг друга, даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла, – я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть я ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, – но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землю. И вот уж год, и чувство все то же, не уменьшается».

Сцену смерти от чахотки Катерины Ивановны Мармеладовой в «Преступлении и наказании», согласно замечанию второй жены писателя, Анны Григорьевны Сниткиной, «Федор Михайлович мог наблюдать у одра болезни его первой жены Марии Дмитриевны».

Однако вряд ли М.Д. Исаева была прототипом супруги Мармеладова в основных характеристиках этой героини, кроме того, что Екатерина Ивановна, как и Мария Дмитриевна, была женой пьяницы-чиновника. Ей переданы связанные с этим переживания, равно как и все внешние признаки туберкулеза. И возраст героини – тридцать лет – совпадает с возрастом Марии Дмитриевны в тот момент, когда она впервые встретилась с Достоевским. У Катерины Ивановны, как и у первой жены Достоевского, присутствует, есть и образованность, и благородство происхождения, хотя жена Мармеладова оказывается дочерью военного, а не гражданского чиновника.

Но вот страстной любви у Катерины Ивановны к Семену Захаровичу Мармеладову в романе Достоевского нет и в помине. Думаю, что свою страстную любовь с Исаевой писатель передал Раскольникову и Соне Мармеладовой, падчерице Катерины Ивановны.

О своей жене Достоевский писал брату: «Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная прошлая жизнь оставила на ее душе болезненные следы. Переходы в ее ощущениях быстры до невозможности». В жизни это проявлялось в том, что Мария Дмитриевна обижалась молниеносно, повсюду видела подвохи, в гневе кричала и рыдала до обмороков, потом смиренно просила прощения, являя кротость и доброту.

Достоевский писал о своей встрече с Марией Дмитриевной: «Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни».

А вот как в эпилоге вспыхивает любовь между Раскольниковым и Соней, после чего каторжник наконец раскаивается полностью и сам впервые по душевному зову обращается к Евангелию:

«Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный, старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку.

Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой встречал ее, иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались; он мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. Конвойный на ту пору отворотился.

Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее и что настала же наконец эта минута...

Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого.

Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья! Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она – она ведь и жила только одною его жизнью!»

Можно с полным основанием предположить, что именно любовь Марии Дмитриевны в Семипалатинске окончательно обратила Достоевского к христианству вместо социализма. Только у Достоевского сначала была страсть, которая позднее сменилась постепенным охлаждением и взаимными попреками, что усугублялось болезнями обоих: эпилепсией у Достоевского, чахоткой у его жены. В результате в последние годы жизни Марии Дмитриевны у Достоевского на горизонте уже появилась молоденькая Аполлинурия Сулова, которой в момент знакомства с Достоевским в 1861 году было 22 года. В «Преступлении и наказании» же Раскольников и Соня проходят обратный путь – от споров и упреков до страстной любви.

Образ Раскольникова и общая идея романа «Преступление и наказание» в том виде, в каком мы его знаем, родились у Достоевского осенью 1865 года. В середине сентября он из Висбадена писал редактору журнала «Русский вестник» М. Н. Каткову, предлагая ему повесть на сюжет, совпадающий с основной фабульной линией «Преступления и наказания». Достоевский утверждал, что работает над этой повестью уже два месяца, очевидно, имея в виду здесь и работу над первоначальным замыслом «Пьяненьких», и что собирается ее закончить не позже чем через месяц. Объем ее, как предполагал писатель, будет составлять «от пяти до шести печатных листов». Достоевский так излагал в письме свой новый замысел:

«Это – психологический отчет одного преступления. Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшийся некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решил убить одну старуху, титулярную советницу, дающую

деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берет жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. «Она никуда не годна», «для чего она живет?», «полезна ли она хоть кому-нибудь?» и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать, с тем чтоб сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства – притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству», чем уже, конечно, «загладится преступление»... Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы. Никаких на него подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы встают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть на каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое... Преступник сам решает принять муки, чтобы искупить свое дело...

В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическое наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, отчасти потому, что он и сам его нравственно требует. Это видел я даже на самых неразвитых людях, на самой грубой случайности. Выразить мне это хотелось именно на развитом, на нового поколения человеке, чтоб была ярче и осязательнее видна мысль. Несколько случаев, бывших в самое последнее время, убедили, что сюжет мой вовсе не эксцентричен. Именно, что убийца развитой и даже хороших наклонностей молодой человек. Мне рассказывали прошлого года в Москве (верно) об одном студенте, выключенном из университета... – что он решился разбить почту и убить почтальона. Есть еще много следов в наших глазах о необыкновенной шатости понятий, подвигающих на ужасные дела... Одним словом, я убежден, что сюжет мой отчасти оправдывает современность».

После возвращения в Петербург, в конце ноября 1865 г., когда с августа по октябрь было уже «много написано и готово» для предполагаемого романа «Пьяненькие», Достоевский, по его словам, «все сжег» и «начал сызнова», по «новому плану».

История Родиона Раскольников увлекла писателя. Уже через месяц Достоевский выслал его начало в «Русский вестник», продолжая лихорадочно работать над продолжением романа до конца 1866 года.

Достоевский так охарактеризовал новый замысел: «Перерыть все вопросы в этом романе. Рассказ от себя, а не от него. Если же исповедь, то уж слишком до последней крайности, надо все уяснить. Чтоб каждое мгновение рассказа все было ясно... Исповедью в иных пунктах будет не целомудренно и трудно себе представить, для чего написано. Но от автора. Нужно слишком много наивности и откровенности. Предположить нужно автора существом всеведущим и не погрешающим, выставляющим всем на вид одного из членов нового поколения».

Особый интерес представляет черновая запись к «Преступлению и наказанию» от 2 января 1866 года: «ПРАВОСЛАВНОЕ ВОЗЗРЕНИЕ, В ЧЕМ ЕСТЬ ПРАВОСЛАВИЕ: Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом, – есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания... Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием».

Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание (т. е. непосредственно чувствуемое телом и духом, т. е. жизненным всем процессом) приобретается опытом про и contra, которое нужно перетащить на себе».

И здесь же Достоевский писал по поводу Раскольникова:

«В его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество. Деспотизм – его черта. Она ведет ему напротив.

NB. В художественном исполнении не забыть, что ему 23 года.

Он хочет властвовать – и не знает никаких средств. Поскорей взять во власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая.

Чем бы я ни был, что бы я потом ни сделал, – был ли бы я благодетелем человечества или сосал бы из него, как паук, живые соки – мне нет дела. Я знаю, что я хочу властвовать, и довольны».

А вот как писатель на подготовительном этапе видел Разумихина:

«Разумихин очень сильная натура и, как часто случается с сильными натурами, весь подчиняется Авд(отье) Ром(ановне). (NB. Еще и та черта, которая часто встречается у людей, хоть и благороднейших и великодушных, но грубых буянов, много грязного видевших бамбошеров – что, например, он сам себя как-то принижает перед женщиной, особенно если эта женщина изящна, горда и красавица.)

Разумихин сначала стал рабом Дуни (расторопный молодой человек, как называла его мать); принизился перед нею. Одна мысль, что она может быть его женою, казалась ему сначала чудовищною, а между тем он был влюблен беспредельно с 1-го вечера, как ее увидал. Когда она допустила возможность того, что она может быть его женой, он чуть с ума не сошел (сцена). Он хоть и любит ее ужасно, хоть по натуре самоволен и смел до нелепости, но перед ней, несмотря даже на то, что он жених, он всегда дрожал, боялся ее, а она, как избалованная, сосредоточенная и мечтательная, хоть и любила его, но иногда как будто презирала. Он не смел с ней говорить. И потому с 1-го разу он возненавидел Соню, так как и Дуня возненавидела и оскорбила ее (зашел далеко) и поссорился через это с ним. Но потом (со 2-й половины романа), поняв, что такое Соня, он вдруг перешел на ее сторону, а Дуне сделал страшную сцену, рассорился и закутил. Но когда узнал, что Дуня была у Сони и проч. (и когда не перенес сам своего отчаяния), Дуня нашла его и спасла. Она теперь его больше уважать стала за характер. Одним словом, Разумихин – характер».

Будущий Свидригайлов в тот момент представлялся писателю следующим образом:

«Страстные и бурные порывы, клочкотание и вверх и вниз; тяжело носить самого себя (натура сильная, неудержимые, до ощущения сладострастия, порывы лжи (Иван Грозный), много подлостей и темных дел, ребенок (NB умерщвлен), хотел застрелиться. Три дня решался. Измучил бедного, который от него зависел и которого он содержал. Вместо застрелиться – жениться. Ревность. (Оттягал 100 000.) Клевета на жену. Выгнал или убил приживальщика. Бесмрачный, от которого не может отвязаться. Вдруг решимость изобличить себя, всю интригу; покаяние, смирение, уходит, делается великим подвижником, смирение, жажда претерпеть страдание. Себя предает. Ссылка. Подвижничество.

«Гнусно подражать народу не хочу». Все-таки нет смирения, борьба с гордостью.

Страстные и бурные порывы. Никакой холодности и разочарованности, ничего пущеного в ход Байроном. Непомерная и ненасытимая жажда наслаждений. Жажда жизни неутолимая. Многообразие наслаждений и утолений. Совершенное сознание и анализ каждого наслаждения, без боязни, что оно оттого ослабеет, потому что основано на потребности самой природы, телосложения. Наслаждения артистические до утонченности и рядом с ними грубые, но именно потому, что чрезмерная грубость соприкасается с утонченностию (отрубленная голова). Наслаждения психологические. Наслаждения уголовные нарушением всех законов. Наслаждения мистические (страхом ночью). Наслаждения покаянием, монастырем (страшным постом и молитвой). Наслаждения нищенские (прошением милостыни). Наслаждения Мадонной Рафаэля. Наслаждения кражей, наслаждения разбоем, наслаждения самоубийством.

(Получив наследство 35 лет, до тех пор был учителем или чиновником, боялся начальства). (Вдовец). Наслаждения образованием (учится для этого). Наслаждения добрыми делами».

Примечательна и авторская характеристика Лужина:

«При тщеславии и влюбленности в себя, до кокетства, мелочность и страсть к сплетне. Он вошел душою и сердцем во вражду к Соне, назвал Раскольникова, единственно потому, что тот сказал, что он мизинца ее не стоит, и с жаром говорил о ее подвиге. Лужин смеялся тогда над этим подвигом и потом возненавидел Соню до личной ненависти и даже вошел в интересы Лебезятникова и связался с ним, чтоб унижить Соню.

Раскольникова же он постоянно считает врагом своим злейшим. Даже делами неглижирует своими, увлекаемый этой враждою.

Он связывается с Рейслер и грозит Соне.

Но Лужин, человек, выбившийся из семинаристов, из низкого звания и из рутины, – все-таки человек не ординарный. Назло себе все-таки он не может не признать достоинств в Соне и вдруг влюбляется и пристаёт к ней до последнего (трагедия).

Он связался с следователем, чтоб вредить Раскольникову. Сплетни Рейслер.

Он потому было влюбился в Дуню, что та красива и горда, а его тщеславию лестно было, что вот, дескать, какая у меня жена, и 2) лестно было самому, до сладострастия, что вот, дескать, я господствую и деспотирую над такой прекрасной, гордой, добродетельной и сильного характера.

Он скуп. В его скупости нечто из пушкинского Скупого барона. Он поклонился деньгам, ибо все погибает, а деньги не погибнут; я, дескать, из низкого звания и хочу непременно быть на высоте лестницы и господствовать. Если способности, связи и проч. мне манкируют, то деньги зато не манкируют, и потому поклонюсь деньгам».

Уже на этой ранней стадии работы над романом Достоевский провозглашает, что «покупается счастье страданием». Поэтому ни в «Преступлении и наказании», ни в «Бесах», ни в «Идиоте», ни в «Братьях Карамазовых» не может быть банального хеппи-энда. Свидригайлова Достоевский уже представлял бесом, а одну из причин торжества злого начала в его душе писатель видел в том, что он презирает народ и не желает «гнусно подражать» ему.

Место жительства Раскольникова в романе – район Столярного переуллка (здесь, на углу Малой Мещанской ул., в доме И. М. Алонкина жил, в 1864–1867 гг. и сам писатель) – это след неосуществленного замысла «Пьяненькие». «В Столярном переулке, – писала газета «Петербургский листок» в марте 1865 года, – находится 16 домов (по 8 с каждой стороны улицы). В этих 16 домах помещается 18 питейных заведений, так что желающие насладиться подкрепляющей и увеселяющей влагой, придя в Столярный переулок, не имеют даже никакой необходимости смотреть на вывески: входи себе в любой дом, даже на любое крыльцо, – везде найдешь вино». Рядом, на Вознесенском проспекте, помещалось еще 6 трактиров (один из них посещает в романе Свидригайлов), 19 кабаков, 11 пивных, 10 винных погребов и 5 гостиниц.

Однако в процессе работы над романом Достоевский решил, что «наполеоновский комплекс» у многих представителей современной молодежи представляет куда большую опасность, чем исконное, природное русское пьянство.

В основе преступления Раскольникова лежит действительный случай. В 1861 году по инициативе Достоевского в журнале «Время» был опубликован отчет об одном уголовном деле во Франции под заглавием «Процесс Ласенера». Некий Пьер Франсуа Ласенер – убийца и вор, приговоренный в 1835 году к смертной казни, объявил себя в изданных посмертно мемуарах и стихах «идейным убийцей», борцом с социальной несправедливостью, «жертвой своего века», «человекобогом», сбросившим «нравственные оковы». В примечании к публикации отчета об этом процессе Достоевский писал, что процессы, подобные делу Ласенера, «занимательнее всевозможных романов, потому что освещают такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться, а если и касается, то мимоходом, в виде эпизода... Дело идет о

личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной. Низкие источники и малодушие перед нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставить себя жертвой своего века...» В поэме «Ласенер-поэт», вошедшей в его сборник «Незабудка» (1838), Моро с негодованием обрушился на Ласенера, который осмелился называть себя поэтом, «в старушечьей крови собирая луидоры». Ласенер утверждал, что «идея» индивидуального мщения обществу родилась у него под влиянием революционных и утопических социалистических идеалов эпохи, что он поэт-революционер, мститель обществу. Отсюда же проистекает и идейность Раскольниковова. Ласенер с помощью своего подручного Аврила 14 декабря 1834 года (н. ст.) убил 60-летнюю больную старуху Шардон, прикованную к постели, и ее сына. Ласенер подозревал, что у нее припрятаны 10 000 франков и серебряные вещи. Орудием убийства послужил трехгранный терпуг, заостренный с обоих концов. Аврил же орудовал молотком. Но нашли они только 500 франков и несколько серебряных столовых приборов, плащ и черную шелковую шапку. В последний момент убийцы прихватили статую Мадонны из слоновой кости, думая, что это дорогая вещь. Но когда антиквары дали за нее только три франка, Ласенер и Аврил предпочли ее уничтожить, чтобы не оставлять улики.

Раскольников же первоначально приносит в заклад старухе-процентщице серебряные часы, а затем якобы собирается отдать в заклад серебряный портсигар, чтобы иметь повод встретиться со старухой и убить ее. Родион Романович рассчитывает раздобыть у Алены Ивановны три тысячи рублей, что ассоциируется с христианской Троицей. Но его реальная добыча оказывается гораздо скромнее. Как и Ласенер, Раскольников убивает двоих – противную старуху-процентщицу и ее кроткую сестру Лизавету. И тоже использует довольно нетрадиционное орудие убийства, отказавшись от классического ножа. Но если Ласенер взял с собой на дело напильник (терпуг), то Раскольников воспользовался более подходящим для мужицкой России орудием убийства. Писатель как бы спародировал здесь Н.Г. Чернышевского и его товарищей, звавших Русь к топору. Но, потрясенный гибелью Лизаветы, которую он хотел освободить от тирании сестры, герой Достоевского, не заметив крупной суммы денег на комод, довольствуется грошовыми серьгами и колечками, а также кошельком с небольшой суммой денег, которой так и не воспользовался. Уже на суде выяснилось, что «в кошельке оказалось триста семнадцать рублей серебром и три двугривенных; от долгого лежания под камнем некоторые верхние, самые крупные, бумажки чрезвычайно попортились». Сумма оказывается почти в 10 раз меньше, чем рассчитывал Раскольников, но и в ней назойливо дважды повторяется цифра «три», опять заставляя вспомнить о Божественной Троице.

Между прочим, А.Г. Достоевская вспоминала: «Ф.М. в первые недели нашей брачной жизни, гуляя со мной, завел меня во двор одного дома и показал камень, под которым его Раскольников спрятал украденные у старухи вещи. Двор этот находится по Вознесенскому проспекту, второй от Максимилиановского переулочка, на его месте построен громадный дом, где теперь редакция немецкой газеты. На мой вопрос: зачем же ты забрел на этот пустынный двор? – Федор Михайлович ответил: а за тем, за чем заходят в укромные места прохожие».

В 1862 году в журнале братьев Достоевских «Время» была помещена статья Н.Н. Страхова «Дурные признаки», в которой автор критиковал предисловие французской переводчицы К.О. Руайе к ее переводу «Происхождения видов» Чарльза Дарвина. Страхов предостерегал против механического перенесения учения об естественном отборе в науку об обществе, порицая Руайе за ее попытку с помощью ложно истолкованного ею учения Дарвина доказать «естественное» происхождение и вечный характер неравенства между расами, общественными классами, а также отдельными индивидами. Защищая «естественное» происхождение и неустранимость в будущем обществе личного и социального неравенства, Руайе утверждала, что стремление содействовать равенству между людьми разных классов и рас является вредной утопией, и, предвосхищая Ницше, резко ополчалась против идей сострадания и милосер-

дия. Предисловие Наполеона III к «Истории Юлия Цезаря» и предисловие Руайе к ее переводу стали источниками теории «двух разрядов людей», которую отстаивает Родион Раскольников.

На основе этих носящихся в воздухе «недоконченных идей» Раскольников создает свою собственную довольно стройную теорию. Он так излагает ее основы: «...Люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унижительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительноны и многообразны; большею частью они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, – смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, – это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление... Впрочем, тревожиться много нечего: масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает (более или менее). Первый разряд всегда – господин настоящего, второй разряд – господин будущего. Первые сохраняют мир и приумножают его численно; вторые двигают мир и ведут его к цели. И те и другие имеют совершенно одинаковое право существовать».

Однако при столкновении с живой жизнью теория двух разрядов людей начинает рушиться. Измотанный страхом разоблачения Раскольников пересматривает если не саму теорию, то свое место в ней: «...Он с омерзением почувствовал вдруг, как он ослабел, физически ослабел.

«Я это должен был знать, – думал он с горькою усмешкой, – и как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться. Я обязан был заранее знать... Э! Да ведь я же заранее и знал!..» – прошептал он в отчаянии.

Порою он останавливался неподвижно перед какою-нибудь мыслию:

«Нет, те люди не так сделаны; настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, – а стало быть, и все разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!»

Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его:

«Наполеон, пирамиды, Ватерлоо – и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною укладкою под кроватью, – ну каково это переварить хоть бы Порфирию Петровичу!.. Где ж им переварить!.. Эстетика помешает: «ползет ли, дескать, Наполеон под кровать к «старушонке»! Эх, дрянь!..»

Главный герой «Преступления и наказания» уже понимает, что он – отнюдь не Наполеон, что, в отличие от своего кумира, спокойно жертвовавшего жизнями десятков тысяч людей, не в состоянии справиться со своими чувствами после убийства одной «гаденькой старушонки». Раскольников чувствует, что его преступление, в отличие от кровавых деяний Наполеона, – стыдное, неэстетичное. Позднее в романе «Бесы» Достоевский развил тему «некрасивого преступления» – там его совершает Ставрогин, персонаж, родственник Свидригайлову в «Преступлении и наказании». Раскольников же пытается определить, где же он сделал ошибку: «Старушонка вздор! – думал он горячо и порывисто, – старуха, пожалуй что, и ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь... я переступить поскорее хотел... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой сто-

роне остался... Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается». Принцип, через который пытается переступить Родион Романович, – это совесть. Стать «властелином» ему мешает всячески заглушаемый зов добра. Раскольников все больше думает о раскаянии и не случайно заставляет Соню Мармеладову читать евангельскую притчу о воскресении Лазаря. Преступник мучается, любовь к Соне в конце концов побуждает его донести на самого себя, признаться в двойном убийстве. Однако и на каторге Раскольников все еще уверен, что теория двух разрядов людей правильна, просто он себя ошибочно не к тому разряду отнес, за что и расплачивается. Лишь приезд Сони и новое обращение к Евангелию побуждают Родиона в корне пересмотреть всю прежнюю жизнь и отказаться от следования теории, рассматривающей большинство человечества только как материал для немногочисленных наполеонов. Раскольников приходит к христианским моральным ценностям, и в финале эпилога «Преступления и наказания» «начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новой, доселе совершенно неведомою действительностью». В этом новом мире христианской нравственности для теории двух разрядов людей уже нет места.

Как отмечает В. Свинцов в статье «Вера и неверие: Достоевский, Толстой, Чехов и другие», «Порфирий Петрович спрашивает Раскольникова (уже подозревая в нем убийцу), верит ли тот в Бога, и, получив утвердительный ответ, продолжает: «И-и в воскресение Лазаря веруете?» «Ве-верую, – не совсем твердо отвечает Раскольников. – Зачем вам все это?» – «Буквально веруете?» – «Буквально». Почему именно о Лазаре спрашивает Порфирий, да еще и уточняет, буквально ли понимает Раскольников воскресение?.. Как известно, Иоанн – единственный из четырех евангелистов, повествующий о воскресении Лазаря; Матфей, Лука и Марк не говорят об этом. В знаменитом личном Евангелии Достоевского именно Благовествование от Иоанна привлекало особое внимание писателя, а 11-я глава буквально испещрена различными пометами. Так чем же привлекал Достоевского этот факт? Почему из трех мертвецов, воскрешенных Христом в его земном существовании – кроме Лазаря, это еще дочь начальника синагоги Иаира и сын вдовы из Наина, – выбирается случай с Лазарем? Тут все дело в том, что воскрешенный Лазарь был Лазарь четверодневный. «Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе» (Ин. 11,39).

Достоевсковеды, рассчитавшие по дням и едва ли не по часам последовательность всех событий в «Преступлении», высказывают мнение, что Соня не случайно зачитывает Раскольникову евангельский текст на четвертый день после убийства. Тем самым, полагают они, Достоевский как бы сопоставляет четверодневного убийцу с четверодневным мертвецом и показывает, что Раскольников, подобно Лазарю, не безнадежен. Вся сцена становится как бы прологом к духовному воскресению Раскольникова».

В Петербурге в период с 1853 по 1857 год число преступлений удвоилось. Одних краж и мошенничеств совершалось ежегодно на 140 тыс. рублей. Число арестантов достигло 40 000 человек ежегодно, что составляло одну восьмую часть населения тогдашней столицы.

Достоевский был знаком и с рядом преступлений, почерпнутых из российской уголовной хроники и сильно напминавших убийство Раскольниковым старухи-процентщицы. В августе 1865 года в Москве проходил военно-полевой суд над приказчиком, купеческим сыном Герасимом Чистовым, 27 лет, раскольников по вероисповеданию. Преступник обвинялся в преднамеренном убийстве в Москве в январе 1865 г. двух старух – кухарки и прачки – с целью ограбления их хозяйки. Преступление было совершено между 7 и 9 часами вечера. Убитые были найдены сыном хозяйки квартиры, мещанки Дубровиной, в разных комнатах в лужах крови. В квартире были разбросаны вещи, вынутые из окованного железом сундука, откуда были похищены деньги, серебряные и золотые вещи. Как сообщала петербургская газета, старухи были убиты порознь, в разных комнатах и без сопротивления с их стороны одним и тем же

орудием – посредством нанесения многих ран, по-видимому, топором, очень острым и насаженным на короткую ручку. Добыча преступника составила 11 260 рублей.

Еще большую известность в свое время получило «дело студента Данилова». Первое сообщение о нем появилось в момент публикации начальных глав «Преступления и наказания» и поразило современников и самого писателя сходством преступления Раскольникова с обстоятельствами убийства, совершенного образованным преступником, о незаурядной внешности и уме которого говорилось в газетных публикациях. В целях наживы Данилов убил ростовщика Попова и его служанку М. Нордман. Крестьянин М. Глазков хотел принять его вину на себя, но был изобличен. Это преступление произошло 12 января 1866 года, перед самым выходом январской книги «Русского вестника», и было воспринято как свидетельство гениальной прозорливости Достоевского. Но данный факт, вероятно, повлиял на последующую эволюцию замысла романа, в котором появился человек, пытающийся взять на себя вину Раскольникова, – красильщик Миколка, нашедший оброненные Раскольниковым серьги, пропивший их, а затем арестованный по подозрению в убийстве, принявший вину на себя, чтобы «страдание принять». Правда, само дело по обвинению Данилова слушалось в Московском окружном суде только 14 февраля 1867 года, уже после завершения «Преступления и наказания», но ранее оно широко освещалось в газетах. Приговор был – 9 лет каторжных работ, почти столько же, сколько получил и Раскольников – 8 лет каторги, из которых в эпилоге романа ему остается отсидеть семь. «Семь», замечу, число сакральное, связанное с Космосом, ходом небесных тел (вспомним 7-дневные фазы Луны), а следовательно, по древним поверьям, и с судьбой человека. Но, в отличие от героя Достоевского, Данилов никогда не был идейным убийцей, а совершил преступление из чисто корыстных побуждений, поскольку был вполне обеспеченным франтом, но хотел еще больше денег для веселой жизни.

Сам Достоевский в письме к А.Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 года писал, имея в виду дело Данилова и противопоставляя свое понимание реализма пониманию его задач своими современниками: «Ихним реализмом – сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты». О своей авторской гордости, вызванной тем, что своим романом он художественно предвосхитил реальные явления, подобные преступлению Данилова, Достоевский тогда же говорил Страхову.

Достоевский в преступлении Раскольникова запечатлел столь типичное преступление эпохи, что невольно оказался провидцем в отношении трагической судьбы собственной сестры. Варвара Михайловна Достоевская (в замужестве Карепина), вероятно, послужила одним из прототипов старухи-процентщицы в «Преступлении и наказании». Свое наследство она получила еще в 1850 году, в возрасте 28 лет. Можно сказать, что Достоевский в данном случае оказался трагическим провидцем. В 1893 году Варвара Михайловна была зарезана в своем доме грабителями, полностью повторив судьбу героини «Преступления и наказания».

Также и в «Идиоте» Достоевским были запечатлены реальные преступления, очень схожие с тем, что совершил герой «Преступления и наказания». Князь Мышкин рассказывает Рогожину: «Вечером я остановился в уездной гостинице переночевать, и в ней только что одно убийство случилось, в прошлую ночь, так что все об этом говорили, когда я приехал. Два крестьянина, и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе, в одной каморке, ложиться спать. Но один у другого подглядел, в последние два дня, часы, серебряные, на бисерном желтом шнурке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор, был даже честный, и, по крестьянскому быту, совсем не бедный. Но ему до того понравились эти часы и до того соблазнили его, что он наконец не выдержал: взял нож и, когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькою молитвой: «Господи, прости ради Христа!» – зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы.

Рогожин покатился со смеху. Он хохотал так, как будто был в каком-то припадке. Даже странно было смотреть на этот смех после такого мрачного недавнего настроения.

– Вот это я люблю! Нет, вот это лучше всего! – выкрикивал он конвульсивно, чуть не задыхаясь: – один совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет по молитве... Нет, этого, брат-князь, не выдумаешь! Ха-ха-ха! Нет, это лучше всего!..»

Об этом преступлении в октябре 1867 года писала газета «Голос». Крестьянин Ярославской губернии Балабанов убил мещанина Сулова. Балабанов приехал в Петербург на заработки и познакомился с Суловым в доме акушера Штольца. Убийство произошло во время их встречи за чаем. Достоевский отметил в записной книжке: «Зарезал за часы Сулова, раздувавшего самовар, со словами: «Господи, прости ради Христа». В романе обыгрывается тот факт, что Балабанов на вырученные за серебряные часы деньги хотел вернуться в деревню и помочь находившейся там в нищете семье, что роднило его с Раскольниковым.

Позднее еще одно нашумевшее убийство отразилось в «Братьях Карамазовых». Помните, как Федор Павлович Карамазов обращается к игумену: «Ваше преподобие, знаете вы, что такое фон-Зон? Процесс такой уголовный был: его убили в блудилище – так, кажется, у вас сии места именуются, – убили и ограбили, и несмотря на его почтенные лета, вколотили в ящик, закупорили и из Петербурга в Москву отослали в багажном вагоне, за номером. А когда заколачивали, то блудные плясавицы пели песни и играли на гусях, то есть на фортоплясах». В данном случае он как бы пророчит собственную гибель от руки Смердякова.

Речь здесь идет об убийстве богатого старика – отставного надворного советника Николая фон Зона, дело о котором разбиралось в С.-Петербургском окружном суде 28 и 29 марта 1870 года. Фон Зона в ночь с 7 на 8 ноября 1869 года заманили в притон в центре Петербурга, недалеко от Сенной площади, отравили, зверски убили и ограбили. Во время убийства, когда, по показаниям одного из участников, «пошли в ход ремень, плед, утюги», – одна из соучастниц преступления, как говорил потом ее защитник, «садится за фортепьяно, стучит руками и ногами и заглушает крики и стоны несчастной жертвы». В середине декабря, благодаря явке с повинной петербургского ремесленника Александра Иванова, преступление было раскрыто. Ремесленник заявил, что фон Зон убит в его присутствии на квартире Максима Иванова, с которым они не родственники, а однофамильцы. Труп убитого был уложен в чемодан и отправлен 8 ноября по железной дороге в Москву. Криминалист И.Ф. Крылов так описал подробности преступления:

«Заявление Александра Иванова получило подтверждение: из Москвы телеграммой было сообщено, что на станции железной дороги действительно находится чемодан, адресованный на имя Кольцова, никем не востребованный. При вскрытии чемодана в нем найдено мертвое тело неизвестного мужчины. Этим мужчиной и был Николай фон Зон.

В результате произведенного расследования были установлены следующие обстоятельства: инициатор и основной исполнитель убийства Максим Иванов держал квартиру, в которой на полном его иждивении проживали несколько женщин, промышлявших проституцией. Вырученные деньги они полностью отдавали хозяину квартиры. Не довольствуясь получаемыми таким путем «доходами», Максим Иванов задумал отравлять с целью грабежа своих «гостей». Предварительно он занялся опытами, отравляя кошек и собак. Убедившись в эффективности данного способа убийства, Иванов решил применить его к людям. Первой жертвой и стал престарелый фон Зон, с которым днем 7 ноября Иванов встретился в увеселительном заведении «Эльдорадо».

Приведя фон Зона на свою квартиру, Иванов организовал «угощение». Вино и водка быстро подействовали, фон Зон охмелел. Одна из женщин отвела его в спальню, где искусно похитила имевшиеся при нем деньги и передала их Максиму Иванову. Но фон Зон, несколько отрезвев, вернулся в общую залу и потребовал вернуть похищенные деньги. Ему заявили, что деньги целы, что над ним лишь пошутили, и предложили «на мировую» выпить еще бутылку

вина. Незаметно от фон Зона Иванов влил в нее раствор ядовитого вещества. После первого же глотка фон Зон повалился на диван. Желая быстрее наступления смерти, находившемуся в бесчувственном состоянии фон Зону насильно влили новую порцию яда. Не ограничиваясь этим, преступники начали душировать свою жертву, а затем нанесли ей несколько ударов утюгом по голове. Убийство было совершено».

Между прочим, экспертом на суде над Максимом Ивановым и его сообщниками выступал тогда еще мало кому известный химик Д.И. Менделеев, автор периодической системы. Николай Зон же может рассматриваться как один из прототипов старика Карамазова.

И еще одно громкое дело, напомиравшее как реальное преступление Данилова, так и придуманное преступление Раскольников, отразилось в последнем романе писателя.

В «Братьях Карамазовых» в речи обвинителя на суде упоминается: «молодой блестящий офицер высшего общества, едва начинающий свою жизнь и карьеру, подло, в тиши, безо всякого угрызания совести, зарезывает мелкого чиновника, отчасти бывшего своего благодетеля, и служанку его, чтобы похитить свой долговой документ, а вместе и остальные денежки чиновника: «пригодятся-де для великосветских моих удовольствий и для карьеры моей впереди». Зарезав обоих, уходит, подложив обоим мертвецам под головы подушки».

Речь идет об отставном прапорщике лейб-гвардии саперного батальона Карле Христофорове фон Ландсберге, совершившем убийство надворного советника Власова и мещанки Семенидовой. Дело слушалось на заседании Петербургского окружного суда 5 июля 1879 года и подробно освещалось в «Голосе». Суд приговорил Ландсберга к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в рудниках на 15 лет. А.Ф. Кони вспоминал: «12 января 1866 г., когда первая часть романа уже была напечатана, но еще не вышла в свет («Русский вестник» всегда выходил со значительным опозданием), в Москве студент Данилов зарезал ростовщика и его служанку, – а через тринадцать лет то же самое по отношению к своему кредитору и его прислуге совершил молодой и блестящий гвардейский офицер Ландсберг».

Совершенное Раскольниковым убийство писатель переживал так, как будто совершил его сам. М.А. Иванова вспоминала: «Лето 1866 года Ф.М. Достоевский провел в Люблине у Ивановых. Ивановы занимали большую деревянную дачу невдалеке от парка. Их большая семья летом еще увеличивалась: А.П. Иванов брал к себе на дачу гостить студентов, которым некуда было уезжать, детям разрешалось приглашать товарищей и подруг. Так как Ф. М. Достоевскому нужен был ночью полный покой (он обычно писал по ночам), а в даче Ивановых слишком былолюдно для этого – то заплачет ребенок, то молодежь вернется поздно с гулянья, то встанут чуть свет, чтобы идти на рыбную ловлю, – Достоевский поселился рядом, в пустой каменной двухэтажной даче, где занял только одну комнату. К нему ходил ночевать лакей Ивановых, потому что боялись его оставлять одного, зная о его припадках. Но в течение этого лета припадок был всего один раз.

Однажды лакей, ходивший ночевать к Достоевскому, решительно отказался это делать в дальнейшем. На расспросы Ивановых он рассказал, что Достоевский замышляет кого-то убить – все ночи ходит по комнатам и говорит об этом вслух (Достоевский в это время писал «Преступление и наказание»»).

Эти и другие уголовные дела нашли свой отзвук и в следующем романе Достоевского. В «Идиоте» упоминаются среди ряда других характерных знамений времени два преступления, о которых Достоевский прочел в «Голосе» незадолго до начала или в период работы над «Идиотом». В частности, большой общественный резонанс вызвало убийство восемнадцатилетним гимназистом польским дворянином Витольдом Горским в Тамбове с целью ограбления в доме купца Жемарина, где он давал уроки его одиннадцатилетнему сыну, шести человек (жены Жемарина, его матери, сына, родственницы, дворника и кухарки). Достоевского потрясло, что Горский характеризовался учителями как умный юноша, любивший чтение и сам не чуждый литературному творчеству. Он тщательно подготовился к преступлению, достал

не совсем исправный пистолет и починил его у слесаря, а также по специально сделанному рисунку заказал у кузнеца кистень, объяснив, что он ему нужен для гимнастических упражнений. Горский объявил себя на суде атеистом.

В конце ноября 1867 г., в период обдумывания замысла «Идиота», стала известна знаменательная подробность, относящаяся к преступлению Данилова. По показаниям арестанта М. Глазкова, которого убийца вынуждал принять на себя вину, Данилов совершил убийство после разговора с отцом. Сообщив ему о своем намерении жениться, Данилов получил совет «не пренебрегать никакими средствами и, для своего счастья, непременно достать денег, хотя бы и путем преступления». В «Идиоте» это обстоятельство отразилось в эпизоде с племянником Лебедева, которого дядя называет убийцей «будущего второго семейства Жемариных».

Само название «Преступление и наказание» отражает христианскую тему воздаяния за содеянное. Родион Раскольников, не самый плохой человек в мире, но подпавший под влияние материалистических и атеистических взглядов, убивает жутко плохую старуху-процентщицу и, волею обстоятельств, также и ее очень хорошую сестру. Убил не только из-за бедности, сильнейшей нужды в деньгах, но и чтобы ответить на вопрос, тварь он последняя или право имеет. Сам он уверен в своем праве убивать плохих, не приносящих пользы обществу людей, поскольку превосходит других по умственным и волевым способностям. Эволюция, которую претерпевает Раскольников к эпилогу романа, отражает мысль Достоевского о необходимости страдания не только для искупления греха, но и для обретения подлинного счастья. Сначала герой мучается страхом, что окружающие знают о его преступлении, что его подозревают и вот-вот могут схватить. Перелом в душе Раскольникова начинается, когда Соня Мармеладова впервые знакомит его с Новым Заветом. Он просит ее найти и прочесть притчу о воскресении Лазаря. В душе Родиона Романовича уже подсознательно присутствует надежда на подобное воскресение применительно к себе самому. Выясняется, что именно притчу о Лазаре Соня уже читала на панихиде по Лизавете. Соня сначала колеблется: «Зачем вам? Ведь вы не веруете?..» – но потом все же читает. «Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее: да, так и есть! Она уже вся дрожала в лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: «не мог ли сей, отверзший очи слепому...» – она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют... «И он, он – тоже ослепленный и неверующий, – он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же», – мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания».

Раскольников говорит Соне, что оба они прокляты, что оба преступили некую черту, она – сделавшись проституткой, он – убив двух женщин (но в убийстве еще не признается). А на истерический вопрос Мармеладовой, что же делать, отвечает: «Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Что? Не понимаешь? После поймешь... Свобода и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Помни это! Это мое тебе напутствие! Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про все сама, и тогда припомни эти теперешние слова. И когда-нибудь, потом, через годы, с жизнью, может, и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай!»

Здесь Родион Романович еще рассматривает страдание как способ обрести власть «над всею дрожащею тварью», проверить, сверхчеловек ли он сам. Герой воспринимает страдание как прерогативу сильных людей, способных взять на себя эту тяжесть. Но раскаяние в содеянном уже начинает мучить его, хотя до подлинного духовного возрождения еще далеко. Когда в финале Раскольников, наконец решившись, признается в полиции: «Это я убил тогда ста-

руху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил», им движет не столько раскаянье, сколько стремление «страдание взять на себя», как бы другим способом проверить собственную теорию «двух разрядов людей», доказать, что он сильный человек, способный вынести каторгу, перестрадать и не сломаться. Полностью прозревает Родион только в эпилоге романа, когда к нему в Сибирь приезжает Соня. Раскольников вновь обращается к Евангелию: «Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговорила об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал.

Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: «Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления по крайней мере...»

Она тоже весь этот день была в волнении, а в ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастья. Семь лет, только семь лет! В начале своего счастья, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом...

Но тут уже начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новой, доселе совершенно неведомой действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, – но теперешний рассказ наш окончен».

Только любовь к Соне помогает Родиону обратиться к христианской вере, полностью принять правду Евангелия. Семь лет его каторги уподобляются семи дням творения, когда будет создан новый человек, новый Адам. Достоевский оставил за пределами произведения историю будущего духовного подвига героя, но не оставил у читателя сомнений, что теперь к такому подвигу Раскольников готов. Наказание для него окончено, оно уже принесло свой результат, привело к нравственному перерождению преступника.

Когда следователь Порфирий Петрович объясняет Раскольникову, почему красильщик Миколка не мог убить старуху и ее сестру, он цитирует довольно любопытный источник: «Нет, батюшка Родион Романыч, тут не Миколка! Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитируется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце; тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода, – решился, да как с горы упал или с колокольни слетел, да и на преступление-то словно не своими ногами пришел. Дверь за собой забыл притворить, а убил, двух убил, по теории. Убил, да и денег взять не сумел, а что успел захватить, то под камень снес».

Здесь можно видеть намек на следующее место из библиографической хроники газеты «Голос» в апреле 1865 года: «Основываясь на недавно вышедшем в свет 16-м томе корреспонденции Наполеона и на показаниях врача его, Корвизара, г-н Кенигсберг объясняет, что Наполеону нужно было не завоевание, а собственно война, как средство возбуждения, как опьянение... Кровообращение у Наполеона было неправильно и крайне медленно... Только среди войны он чувствовал себя хорошо, пульс его начинал биться ровно и с нормальной скоростью... Автор находит в этом отношении сходство между Наполеоном и Цезарем; он видит в Цезаре ту же потребность в постоянном самовозбуждении войною...» Теория эта, разумеется, ничего общего с наукой не имела, но в то время была на слуху.

То, что Раскольников был каторжанами принят враждебно, не только еще более оттеняет его финальное раскаяние, но и вполне совпадает с личным опытом писателя. В письме к брату Михаилу от 30 января – 22 февраля 1854 года Достоевский вспоминал: «...нас, дворян, встре-

тили они враждебно и с злобною радостью в нашем горе... Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего ваш брат стал».

Главный противник Раскольникова по ходу действия романа и одновременно его психологический двойник – это помещик Аркадий Иванович Свидригайлов. Он первый из того ряда героев, в котором стоят Николай Всеволодович Ставрогин в «Бесах» и Федор Павлович Карамазов в «Братьях Карамазовых». Это – идейный злодей, не останавливающийся ни перед чем и в конце концов совершающий самоубийство, ибо злодейства разрушают его душу. Свидригайлов начинал как карточный шулер, затем попал в долговую тюрьму, из-за денег женился на Марфе Петровне, потом ее отравил, изнасиловал девочку, которая потом покончила с собой (здесь предвосхищается преступление Ставрогина), довел до самоубийства своего лакея. Свидригайлов преследует сестру Раскольникова Дуню, которой он отвратителен. Именно для того, чтобы оградить сестру от домогательств таких, как Свидригайлов и Лужин (а для этого, как убежден Родион Романович, непременно нужны деньги), Раскольников идет на преступление. Он хочет избавить сестру от необходимости выходить замуж за нелюбимого человека ради денег. Свидригайлов же, подслушав исповедь-признание Раскольникова Соне в убийстве старухи-процентщицы, начинает его шантажировать.

Но не все так просто в отношениях Свидригайлова и Дуни. Аркадий Иванович через эту любовь надеется возродиться к новой жизни, и, когда Дуня его отвергает, Свидригайлов осознает тщету своих надежд и кончает с собой. Сверхчеловек опять оказывается посрамлен, и «теория двух разрядов людей» получает еще одно опровержение. Комплекс Наполеона может привести к гибели.

Современникам Достоевского было знакомо имя «Свидригайлов». Сатирическая газета «Искра» трижды сообщала в 1861 году в разделе «Нам пишут» о «фатах, бесчинствующих в провинции», – Бородавкине («фат вроде пушкинского графа Нулина») и его «расторопном посреднике» и «фактотуме» Свидригайлове.

В образе Свидригайлова, хотя и в трансформированном виде, запечатлен психологический облик одного из обитателей Омского острога, убийцы дворянина Павла Аристов (описанного в «Записках из Мертвого дома» под именем А-ва). Правда, Аристов моложе Свидригайлова. В 1865 году ему было только 37 лет, тогда как Свидригайлов – «человек лет пятидесяти». Аристов, происходивший из неслуживших дворян Московской губернии, был осужден на десять лет каторги «за ложное возведение на невинных лиц государственного преступления». Он донес в III Отделение о наличии в Петербурге некоего тайного общества, вызвался внедриться туда и стать осведомителем, взял за это деньги. Однако на поверку оказалось, что никакого общества в действительности не существует, а Аристов – обыкновенный мошенник. В остроге у него была кличка Крапо, что могло указывать на занятие шулерством. В остроге Аристов воровал, подделывал документы, дважды пытался бежать, неоднократно подвергался телесным наказаниям. С собой он, однако, кончать не собирался, хотя за плохое поведение ему добавили срок. После каторги Аристов был отправлен на поселение в отдаленные места Якутской губернии.

В «Записках из Мертвого дома» Достоевский так вспоминал о своем общении с Аристовым, прибывшим в Омский острог тремя месяцами раньше:

«Естественно, меня поражали сначала явления крупные, резко выдающиеся, но и те, может быть, принимались мною неправильно и только оставляли в душе моей одно тяжелое, безнадежно грустное впечатление. Очень много способствовала тому встреча моя с А-вым, тоже арестантом, прибывшим незадолго до меня в острог и поразившим меня особенно мучительным впечатлением в первые дни моего прибытия в каторгу. Я, впрочем, узнал еще до прибытия в острог, что встречу там с А-вым. Он отравил мне это первое тяжелое время и усилил мои душевные муки. Не могу умолчать о нем.

Это был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и исподлиться человек и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство, без труда и без раскаяния. А-в был молодой человек, из дворян, о котором уже я отчасти упоминал, говоря, что он переносил нашему плац-майору все, что делается в остроге, и был дружен с денщиком Федькой. Вот краткая его история: не докончив нигде курса и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и Мещанскими, сделался падок до такой степени, что, будучи человеком неглупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. Его скоро обличили; в донос свой он впутал невинных людей, других обманул, и за это его сослали в Сибирь, в наш острог, на десять лет. Он еще был очень молод, жизнь для него только что начиналась. Казалось бы, такая страшная перемена в его судьбе должна была поразить, вызвать его природу на какой-нибудь отпор, на какой-нибудь перелом. Но он без малейшего смущения принял новую судьбу свою, без малейшего даже отвращения, не возмутился перед ней нравственно, не испугался в ней ничего, кроме разве необходимости работать и расстаться с кондитерскими и с тремя Мещанскими. Ему даже показалось, что звание каторжного только еще развязало ему руки на еще большие подлости и пакости. «Каторжник, так уж каторжник и есть; коли каторжник, стало быть, уж можно подличать, и не стыдно». Буквально, это было его мнение. Я вспоминаю об этом гадком существе как об феномене. Я несколько лет прожил среди убийц, развратников и отъявленных злодеев, но положительно говорю, никогда еще в жизни я не встречал такого полного нравственного падения, такого решительного разврата и такой наглой низости, как в А-ве. У нас был отцеубийца, из дворян; я уже упоминал о нем; но я убедился по многим чертам и фактам, что даже и тот был несравненно благороднее и человечнее А-ва. На мои глаза, во все время моей острожной жизни, А-в стал и был каким-то куском мяса, с зубами и с желудком и с неутолимой жаждой наи-грубейших, самых зверских телесных наслаждений, а за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать, словом, на все, лишь бы спрятаны были концы в воду. Я ничего не преувеличиваю; я узнал хорошо А-ва. Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренне никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимодо. Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше пожар, лучше мор, чем такой человек в обществе! Я сказал уже, что в остроге все так исподлилось, что шпионство и доносы процветали и арестанты нисколько не сердились за это. Напротив, с А-м все они были очень дружны и обращались с ним несравненно дружелюбнее, чем с нами. Милости же к нему нашего пьяного майора придавали ему в их глазах значение и вес. Между прочим, он уверял майора, что он может снимать портреты (арестантов он уверял, что был гвардии поручиком), и тот потребовал, чтоб его выслали на работу к нему на дом, для того, разумеется, чтоб рисовать майорский портрет. Тут-то он и сошелся с денщиком Федькой, имевшим чрезвычайное влияние на своего барина, а следственно, на всех и на все в остроге. А-в шпионил на нас по требованию майора же, а тот, хмельной, когда бил его по щекам, то его же ругал шпионом и доносчиком. Случалось, и очень часто, что сейчас же после побоев майор садился на стул и приказывал А-ву продолжать портрет. Наш майор, кажется, действительно верил, что А-в был замечательный художник, чуть не Брюллов, о котором и он слышал, но все-таки считал себя вправе лупить его по щекам, потому, дескать, что теперь ты хоть и тот же художник, но каторжный, и хоть будь ты раз-Брюллов, а я все-таки твой начальник, а стало быть, что захочу, то с тобою и сделаю. Между прочим, он заставлял А-ва снимать ему сапоги и выносить из спальни разные вазы, и все-таки долго не мог отказаться от мысли, что

А-в великий художник. Портрет тянулся бесконечно, почти год. Наконец, майор догадался, что его надувают, и, убедившись вполне, что портрет не оканчивается, а, напротив, с каждым днем все более и более становится на него непохожим, рассердился, исколотил художника и сослал его за наказание в острог, на черную работу. А-в, видимо, жалел об этом, и тяжело ему было отказаться от праздных дней, от подачек с майорского стола, от друга Федьки и от всех наслаждений, которые они вдвоем изобретали себе у майора на кухне».

Основные женские образы «Преступления и наказания» – это Соня Мармеладова и сестра Раскольникова Авдотья Романовна, Дуня. Соня – проститутка, падшая женщина, вынужденная торговать своим телом, чтобы прокормить семью. Дуне грозит та же участь. Ее домогается Свидригайлов, в имени которого она служила экономкой, купить ее любовь хочет бездушный делец богатый адвокат Петр Петрович Лужин, считающий выгодной женитьбу на бедной девушке без приданого, которая всем будет обязана только ему. Любовь к сестре подталкивает Раскольникова на двойное убийство отвратительной старухи и ее кроткой сестры Лизаветы, ставшей невольной свидетельницей происшедшего. Любовь же к Соне впоследствии побуждает убийцу к раскаянию.

Возлюбленная Раскольникова, хотя и блудница, предстает перед нами почти как святая. Вот как ее отец, горький пьяница, описывает Родиону Романовичу первое грехопадение дочери: «И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш драдедамовый зеленый платок... накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать лицом к стенке, только плечики да тело все вздрагивают... И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе обнявшись... обе... обе...» И именно Соне первой Раскольников признается в убийстве и тем самым, еще неосознанно, – в любви. Соня же, с пронизательностью любовного чувства, не поверила раскольниковским рассуждениям, что убил он, чтобы сделать счастливыми мать и сестру, вытащить их из нужды, обеспечить достойное будущее: «Ох, это не то, не то... и разве можно так... нет, это не так, не так!» И тут же Раскольников соглашается, что причины его преступления были совсем другие, что он пытался проверить, способен ли переступить через христианский принцип высшей ценности всякой человеческой жизни, пытался убедить себя, что принадлежит к высшему разряду людей, которым все позволено в силу их незаурядности, в том числе и преступления. Соня, человек глубоко верующий, помогает Родиону осознать ошибочность выдуманной им теории и приобщиться к новой жизни.

Дуня – девушка менее страстная, чем Соня, и более склонна к рациональным, расчетливым действиям. Как пишет в самом начале романа Раскольникову мать: «Она теперь, уже несколько дней, просто в каком-то жару и составила уже целый проект о том, что впоследствии ты можешь быть товарищем Петра Петровича по его тяжёлым занятиям...» Авдотья Романовна готова ради счастья брата и матери выйти замуж за нелюбимого, внушающего отвращение Лужина. Раскольников же справедливо считает, что «Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным», потому что в обоих случаях любовь покупается. Дуня «была замечательно хороша собою – высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, – что высказывалось во всяком жесте ее и что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мягкости и грациозности». Красота сестры Раскольникова служит причиной, почему ее домогаются и Свидригайлов, и Лужин. Дуня лишена Сониной рефлексии, да и судьба ее складывается все же не так драматично, как у возлюбленной брата. Если Соня – первая, кому Родион признается в убийстве, то сестра – это последний человек, с кем он делится отягчающим душу преступлением перед тем, как сдать полицию. Раскольников говорит ей: «Я сейчас иду пре-

давать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя». Дуня, плача, восклицает: «Разве ты, идучи на страдание, не смываешь уже вполнину свое преступление?» И тут брат заявляет, что вовсе не считает содеянное преступлением, а прийти с повинной решился «просто от низости и бездарности моей», да еще из страха перед разоблачением и в надежде, что признание облегчит его участь. Но тут же сознает, что сделал несчастными и мать, и сестру, и возлюбленную, и просит простить его.

Общее горе сближает Дуню и Соню, причем «Дуня из этого свидания по крайней мере вынесла одно утешение, что брат будет не один: к ней, Соне, к первой пришел он со своею исповедью; в ней искал он человека, когда ему понадобился человек; она же и пойдет за ним, куда пошлет судьба. Она и не спрашивала, но знала, что это будет так. Она смотрела на Соню даже с каким-то благоговением и сначала почти смущала ее этим благоговейным чувством, с которым к ней относилась. Соня готова была даже чуть не заплакать; она, напротив, считала себя недостойною даже взглянуть на Дуню. Прекрасный образ Дуни, когда та отклонялась ей с таким вниманием и уважением во время их первого свидания у Раскольникова, с тех пор навеки остался в душе ее как одно из самых прекрасных и недостижимых видений в ее жизни».

Хотя Достоевский по-своему любит и Соней и Дуней, первая ему явно ближе, чем вторая. Сестра Раскольникова честна, благородна, искренне любит брата и болеет за него. Но к вопросам веры она равнодушна, в ее душе нет тех борений, что есть в душе у Сони. В эпилоге Дуня находит свое счастье, выйдя замуж за товарища брата, студента Разумихина, человека доброго, но вполне рационального и к религии равнодушного. «В молодой и горячеей голове Разумихина твердо укрепился проект положить в будущие три-четыре года, по возможности, хоть начало будущего состояния, скопить хоть несколько денег и переехать в Сибирь, где почва богата во всех отношениях, а работников, людей и капиталов мало; там поселиться в том самом городе, где будет Родя, и... всем вместе начать новую жизнь». В сущности, муж Дуни – это сильно облагороженная разновидность Лужина. И она вполне солидарна с ним в планах по приобретению капитала. Соня же думает о новой жизни исключительно в духовном смысле, и в конце концов, с помощью Евангелия, пробуждает к ней Раскольникова. Характерно, что она поехала к Родиону в Сибирь, тогда как Дуня с Разумихиным туда так и не собрались, даже когда узнали о тяжелой болезни Родиона. Неблагополучная, но нравственно возвышенная, способная на сильнейшие душевные порывы Соня Достоевскому гораздо милее, чем благополучная и ровная в своих чувствах Дуня.

Соня Мармеладова живет на квартире у портного Капернауова. В черновых записях Достоевский прямо отмечал, что Соня, так же как евангельская блудница Мария Магдалина из города Магдала, близ Капернаума, идет за Раскольниковым «на Голгофу...». Здесь есть еще и оригинальная игра слов, поскольку в просторечии «капернауом» называли кабак.

Евангелие, которое Соня читает Раскольникову и которое в конце концов возвращает его к христианской вере («Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете»), – это то самое Евангелие, которое подарили Достоевскому в 1850 г. в Тобольске на пересыльном дворе жены декабристов А. Г. Муравьева, П. Е. Анненкова и Н. Д. Фонвизина.

Воспитанник Константиновского межевого института Н.Н. фон Фохт, познакомившийся с Достоевским в 1866 году, вспоминал: «... Однажды мне удалось, сидя у Федора Михайловича за утренним чаем, услышать от него несколько слов по поводу небольшого Евангелия, которое у него лежало на маленьком письменном столе. Мое внимание возбудило то обстоятельство, что в этом Евангелии края старинного кожаного переплета были подрезаны. На мой вопрос о значении этих подрезов Достоевский мне объяснил, что когда он должен был отправиться в ссылку в Сибирь, то родные благословили и напутствовали его этою книгою, в переплете которой были скрыты деньги. Арестантам не позволялось иметь собственных денег, а потому такая догадливость его родных до некоторой степени облегчила ему на первое время перенесение суровой и тяжелой обстановки в сибирском остроге.

– Да, – сказал с грустью Федор Михайлович, – деньги – это чеканенная свобода...

С этим Евангелием Достоевский потом никогда в жизни не расставался, и оно у него всегда лежало на письменном столе».

Замечу, что эта версия противоречит другой, более распространенной и более романтической, согласно которой Евангелие Достоевскому вручили уже в Сибири жены декабристов. Но в любом случае, кто бы ни дал Достоевскому Новый завет, версия с зашитыми в переплет деньгами выглядит вполне правдоподобной. Вряд ли Фохт выдумал такую деталь.

С этой книгой Нового Завета Достоевский и умер. Последние 8 лет своей жизни Федор Михайлович страдал эмфиземой легких. Смерть случилась из-за разрыва легочной артерии, что никак нельзя было заранее предвидеть. Предсмертная болезнь началась в ночь с 25 на 26 января небольшим кровотечением из носа, на которое Достоевский не обратил внимания. 26 января он, чувствуя себя совершенно здоровым, не захотел советоваться с докторами насчет кровотечения. В 4 часа пополудни сделалось первое кровотечение горлом. Тотчас привезли пользовавшего Достоевского доктора фон Бретцеля. Уже при нем, часа через полтора, произошло второе, более сильное кровотечение, и Федор Михайлович потерял сознание. Когда он очнулся, то, предчувствуя скорый конец, захотел исповедаться и причаститься. До прихода священника Достоевский успел проститься с женой и детьми и благословил их. После причащения он почувствовал себя лучше. Весь день 27 января кровотечения не было, и Федор Михайлович чувствовал себя относительно хорошо. Очень заботился он о том, чтобы «Дневник писателя» вышел непременно, беспокоился о корректуре и просил читать ему газеты. 28 января до 12 часов все шло благополучно, но затем опять пошла горлом кровь, и больной очень ослабел. В это время к нему заехал А.Н. Майков и провел у него все время до обеда, ухаживая за Достоевским вместе с домашними. По свидетельству А.Г. Достоевской, в решительные минуты жизни ее муж наудачу раскрывал то самое Евангелие, которое пронес через каторгу, и читал верхние строки открывшейся страницы. И на этот раз он попросил жену сделать так же. Открылось Евангелие от Матфея, гл. III, ст. II: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит Нам исполнить великую правду». Когда Анна Григорьевна прочла это место, Федор Михайлович произнес: «Ты слышишь, «не удерживай» – значит, я умру», – и закрыл Евангелие. За два часа до кончины Достоевский попросил передать Евангелие его сыну Феде. После обеда А.Н. Майков вернулся к больному уже не один, а с женою. В половине седьмого вечера произошло последнее кровотечение. Больной впал в беспамятство. Началась агония. Анна Ивановна Майкова привела доктора Н.П. Черепнина, но тот успел только услышать последние удары сердца великого писателя. Несколько ранее успел приехать журналист «Русского вестника» Маркевич. Достоевский скончался 28 января 1881 года, в 8 часов 38 минут вечера.

«Идиот»

Князь Мышкин: поражение и победа «абсолютно прекрасного человека»

Летом 1866 года под бременем долгов Достоевский подписал грабительский договор с издателем Ф. Стелловским, уступив ему за три тысячи рублей право на издание трех томов его сочинений и обязавшись представить к 1 ноября 1866 г. новый роман в 12 печатных листов. В случае невыполнения последнего пункта он должен был внести неустойку и терять права на все тома в продолжение девяти лет. Стелловский рассчитывал на то, что аванс, выданный писателю, уйдет на уплату векселей и все произведения достанутся ему за бесценок. Достоевский, чтобы избавиться от грозившей ему кабалы, решает на крайнюю меру: «Я хочу сделать необычную и эксцентрическую вещь, написать в четыре месяца 30 печатных листов в двух разных романах, один из которых я буду писать утром, а другой вечером, и окончить к сроку».

Для того чтобы успеть к сроку, Достоевский нанял стенографистку Анну Григорьевну Сниткину, которая вскоре, 15 февраля 1867 года, стала его женой.

Родственники писателя не приняли молоденькую жену. Она заложила все, на что ушли деньги ее приданого, – мебель, серебро, одежду и, к негодованию родни, увезла Федора Михайловича за границу. Собирались они пробыть там три месяца, а вернулись через четыре года. Анна Григорьевна, с ее чисто немецкой практичностью, смогла нормализовать материальные дела Федора Михайловича, наладила контроль за получением гонораров, постепенно отвадила мужа от рулетки и добилась того, что он не имел больше долгов. Но это было уже в 70-е годы, а пока отъезд за границу, где супруги пробыли до июля 1871 года, фактически был бегством от кредиторов.

На дорогу Достоевский взял у Каткова 3000 рублей под задуманный роман «Идиот», оставив большую часть денег семье брата. Жили главным образом в Германии и Швейцарии. В Баден-Бадене писатель проиграл в рулетку деньги, костюм и даже платье жены. Пришлось делать новые займы, работать с предельным напряжением сил. В Женеве иной раз приходилось занимать по 5 или 10 франков у Огарева; приходилось закладывать платье, ютиться в одной комнате. Когда В.В. Кашпирев (редактор «Зари») не выслал ему к сроку 75 рублей, Достоевский возмущенно писал одному из друзей: «Неужели он думает, что я писал ему о своей нужде только для красоты слога! Как могу я писать, когда я голоден, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложил! Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она (жена) кормит ребенка, что ж, если она последнюю свою шерстяную юбку идет сама закладывать! А ведь у нас второй день снег идет (не вру, справьтесь в газетах), ведь она простудиться может! Неужели он не может понять, что мне стыдно объяснять ему все это! Да неужели уже он не понимает, что он не только меня, но и жену мою оскорбил, обращаясь со мной так небрежно, после того, как я писал ему о нуждах жены. Оскорбил, оскорбил!.. Он скажет, может быть: «А черт с ним и с его нуждой! Он должен просить, а не требовать...» В письмах Достоевский жаловался на нищету, на то, что жене его приходится зимой закладывать последнюю шерстяную юбку, а самому ему – панталоны, чтобы получить два талера для телеграммы; жалуется на болезнь и на утомленное состояние духа, из-за чего «не пишется». Тем не менее за эти четыре года Достоевский написал много. В Россию они с Анной Григорьевной привезли рукописи «Идиота», повести «Вечный муж» и начало романа «Бесы».

О финансовых проблемах, заставивших его задержаться за границей, Достоевский открыто рассказал в письме А.Е. Врангелю 31 марта/ 9/14 апреля 1865 года: «Вы знаете, веро-

ятно, что брат затеял четыре года назад журнал. Я ему сотрудничал. Все шло прекрасно. Мой «Мертвый дом» сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репутацию. У брата были огромные долги при начале журнала, и те стали оплачиваться, – как вдруг в 63-м году, в мае, журнал был запрещен за одну самую горячую и патриотическую статью, которую ошибкой приняли за самую возмутительную против правительственных действий и общественного тогдашнего настроения. Правда, и писатель был отчасти виноват (один из наших ближайших сотрудников), слишком перетонул, и его поняли обратно. Дело скоро поняли как надо, но уж журнал был запрещен. С этой минуты дела брата приняли крайнее расстройство, кредит его пропал, долги обнаружили, а заплатить было нечем. Брат выхлопотал себе позволение продолжать журнал, под новым названием «Эпоха». Позволение вышло только в конце февраля 64-го. 1-й номер не мог появиться раньше 20 марта. Журнал, значит, опоздал, подписка уже повсеместно кончилась, потому что публика подписывается на все журналы по старой привычке только в 3 месяца, в декабре, январе и феврале. Надо было удовлетворить прежних подписчиков, которые не получили расчета при прекращении «Времени». Им объявлено было, чтоб они досылали по шести рублей за «Эпоху» 1864 года. Так как новых подписчиков почти не было, а были все старые, досылавшие по шести рублей, то, стало быть, брат должен был издавать журнал себе в убыток. Это окончательно его расстроило и доконало. Он начал делать долги, здоровье же его стало расстроиваться. Меня подле него в это время не было. Я был в Москве, подле умиравшей жены моей. Да, Александр Егорович, да, мой бесценный друг, Вы пишете и соболезнаете о моей роковой потере, о смерти моего ангела брата Миши, а не знаете, до какой степени судьба меня задавила! Другое существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей, от чохотки. Я переехал – вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 64-го года, и 16 апреля прошлого года она скончалась, в полной памяти, и, прощаясь, вспоминая всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспомнила и об Вас. Передаю Вам ее поклон, старый, добрый друг мой. Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо.

Все расскажу вам при свидании, – теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру) – мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла, – я, хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, – но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уж год, а чувство все то же, не уменьшается... Бросился я, схоронив ее, в Петербург, к брату, – он один у меня оставался, но через три месяца умер и он, прохворав всего месяц и слегка, так что кризис, перешедший в смерть, случился почти неожиданно, в три дня.

И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, все чуждое, все новое, и ни одного сердца, которое бы могло мне заменить тех обоих. Буквально – мне не для чего оставалось жить. Новые связи делать, новую жизнь выдумывать!

Мне противна была даже и мысль об этом. Я тут в первый раз почувствовал, что их нечем заменить, что я их только и любил на свете и что новой любви не только не наживешь, да и не надо наживать. Стало все вокруг меня холодно и пустынно. И вот, когда я три месяца назад получил Ваше горячее, доброе письмо, полное прежних воспоминаний, мне стало так грустно, что и не знаю, как Вам выразить. Но слушайте далее...

После брата осталось всего триста рублей, и на эти деньги его и похоронили. Кроме того, до двадцати пяти тысяч долгу, из которых десять тысяч долгу отдаленного, который не мог беспокоить его семейство, но пятнадцать тысяч по векселям, требовавшим уплаты. Вы спросите: какими же средствами мог бы он добавить шесть книг журнала за остальную половину года (он умер в июле 64-го года)? Но у него был чрезвычайный и огромный кредит; сверх того, он вполне мог занять, и заем уже был в ходу. Но он умер и весь кредит журнала рушился. Ни копейки денег, чтоб издавать его, а добавить надо было шесть книг, что стоило 18 000 руб. минимум, да сверх того удовлетворить кредиторов, на что надо было 15 000, – итого надо было 33 000, чтоб кончить год и добиться до новой подписки журнала. Семейство его осталось буквально без всяких средств, – хоть ступай по миру. Я у них остался единой надеждой, и они все, и вдова, и дети, сбились в кучу около меня, ожидая от меня спасения. Брата моего я любил бесконечно, – мог ли я их оставить? Предстояло две дороги: 1) прекратить журнал, предоставить журнал (так как журнал все-таки именье и чего-нибудь стоит) кредиторам вместе с мебелью и с домашним хламом и взять семейство к себе. Затем работать, литературствовать, писать романы и содержать вдову и сирот брата; 2-й случай) достать денег и продолжать издание во что бы ни стало. Как жаль, что я не решился на первое! Кредиторы, конечно, не получили бы и 20 на сто. Но семейство, отказавшись от наследства, по закону не обязано было бы ничего и платить. Я же во все эти пять лет, работая у брата и в журналах, зарабатывал от восьми до десяти тысяч в год. Следственно, мог бы прокормить и их и себя, – конечно, работая с утра до ночи всю жизнь. Но я предпочел второе, то есть продолжать издание журнала. Не я, впрочем, один предпочел это. Все друзья мои и прежние сотрудники были того же мнения...

К тому же надо было отдать долги брата: я не хотел, чтоб на его имя легла дурная память. Средство было: дойти до годовой подписки, оплатить часть долгу, стараться, чтоб журнал был год от году лучше, и года через три-четыре, заплатив долги, сдать кому-нибудь журнал, обеспечив семейство брата. Тогда бы я отдохнул, тогда бы я опять стал писать то, что давно хочется высказать. Я решился. Поехал в Москву, выпросил у старой и богатой моей тетки 10 000, которые она назначала на мою долю в своем завещании, и, воротившись в Петербург, стал додавать журнал. Но дело было уже сильно испорчено; требовалось выпросить разрешение цензурное издавать журнал. Дело протянули так, что только в конце августа могла появиться июльская книга журнала. Подписчики, которым ни до чего нет дела, стали негодовать. Имени моего не позволила мне цензура поставить на журнале, ни как редактора, ни как издателя. Надобно было решиться на меры энергические. Я стал печатать разом в трех типографиях, не жалел денег, не жалел здоровья и сил. Редактором был один я, читал корректуры, возился с авторами, с цензурой, поправлял статьи, доставал деньги, просиживал до шести часов утра и спал по 5 часов в сутки, и хоть ввел в журнал порядок, но уже было поздно. Верите ли: 28 ноября вышла сентябрьская книга, а 13 февраля генварская книга 1865 года, значит, по 16 дней на книгу, и каждая книга в 35 листов. Чего же это мне стоило! Но главное, при всей этой каторжной черной работе я сам не мог написать и напечатать в журнале ни строчки своего. Моего имени публика не встречала, и даже в Петербурге, не только в провинции, не знали, что я редактирую журнал.

И вдруг последовал у нас всеобщий журнальный кризис. Во всех журналах разом подписка не состоялась. «Современник», имевший постоянных 5000 подписчиков, очутился с 2300. Все остальные журналы упали. У нас осталось только 1300 подписчиков.

Много причин этого журнального нашего, по всей России, кризиса. Главное, они ясны, хотя и сложны. Но об нем после. Посудите, каково положение наше. Каково, главное, мое положение! Чтоб старые братнины долги не беспокоили хода дела, я перевел их тысяч на десять на себя. Я рассчитывал, что если б журнал имел в этом году, при несчастье, хотя бы только 2500 подписчиков вместо прежних четырех, то и тут все бы уладилось. По крайней мере, свои долги расплатили бы. Я рассчитывал верно: никогда еще не бывало с самого начала нашего журнализма, с тридцатых годов, чтоб число подписчиков убавилось в один год более чем на 25

процентов. Приписывать худому ведению дела я не могу. Ведь и «Время» я начал, а не брат, я его направлял и я редактировал. Одним словом, с нами случилось то же самое, как если бы у владельца или купца сгорел бы дом или его фабрика и он из достаточного человека обратился бы в банкрота.

При начале подписки долги, преимущественно еще покойного брата, потребовали уплаты. Мы платили из подписных денег, рассчитывая, что за уплатою все-таки останется чем издавать журнал, но подписка пресеклась, и, выдав два номера журнала, мы остались без ничего...

Я ездил в Москву доставать денег, искал компаньона в журнал на самых выгодных условиях, но, кроме журнального кризиса, у нас в России денежный кризис. Теперь мы не можем, за неимением денег, издавать журнал далее и должны объявить временное банкротство, а на мне, кроме того, до 10 000 вексельного долга и 5000 на честное слово.

Из них три тысячи надо заплатить во что бы то ни стало. Кроме того, 2000 нужно для того, чтоб выкупить право на издание моих сочинений, которые в закладе, и приступить к их изданию самому. Книгопродавцы дают мне за это право 5000 рублей. Но это мне невыгодно. Если я буду издавать их сам, – будет выгоднее. Теперь, чтоб заплатить долги, хочу издавать новый роман мой выпусками, как делается в Англии. Кроме того, хочу издавать «Мертвый дом» тоже выпусками и с иллюстрацией, роскошным изданием, и наконец, в будущем году, полное собрание моих сочинений. Все это, надеюсь, даст тысяч пятнадцать, – но какова каторжная работа.

О, друг мой, я охотно бы пошел опять в каторгу на столько же лет, чтоб только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь опять начну писать роман из-под палки, то есть из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен, но того ли мне надобно! Работа из нужды, из денег задавила и съела меня.

И все-таки для начала мне нужно теперь хоть три тысячи. Бьюсь по всем углам, чтоб их достать, – иначе погибну. Чувствую, что только случай может спасти меня. Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянью. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние, и вдобавок – один, – прежних и прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне. А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошечья живучесть!»

Роман «Идиот» был впервые опубликован в журнале «Русский вестник» (1868, № 1, 2, 4 – 12 и приложение к № 12) с посвящением племяннице писателя С. А. Ивановой и с проставленной в конце датой завершения романа: «17 января 1869». Отдельное издание «Идиота», в которое были внесены небольшие стилистические исправления, Достоевскому удалось осуществить только по возвращении из-за границы в 1874 году, когда его жена организовала собственное издательство.

Главные герои «Идиота» – это князь Лев Николаевич Мышкин и красавица Настасья Филипповна Барашкова. Она – бывшая содержанка Афанасия Ивановича Тоцкого, богатейшего помещика, вхожего в высший свет. Ее любви домогаются богатый купец Парфен Семенович Рогожин и Гавриил Ардолионович (Ганя) Иволгин, сын разорившегося генерала, приживал в доме своей сестры Варвары и ее мужа, ростовщика Ивана Петровича Птицына («птичьей» фамилии обоих – намек, что они «из одного гнезда» и главная страсть обоих – деньги). Настасья Филипповна предпочитает идеалиста Мышкина, но Рогожин из ревности убивает ее. Есть в романе и «чистенькая» красавица, Аглая Ивановна Епанчина, младшая дочь генерала Епанчина, соперничающая с Настасьей Филипповной за любовь князя Мышкина. Вот в самом кратком изложении сюжет «Идиота» и перечень его основных персонажей.

«Идиот» имеет очевидную связь с «Преступлением и наказанием», только здесь главные герои поменялись полами, а в финале нет никакого катарсиса. В «Преступлении и наказании» Соня выступала в роли духовной спасительницы Раскольникова и в конце концов спасала его, заставляла раскаяться в убийстве, отказаться от порочной теории «двух разрядов

людей». В «Идиоте» в роли спасителя в отношении Настасьи Филипповны выступает князь Мышкин, «положительно прекрасный человек», новое воплощение Христа. Спасти он пытается ее от обуревающих ее страстей, но терпит фиаско, ибо Настасья Филипповна становится жертвой ревности Рогожина. Тоцкий же в «Идиоте» – это бледная копия Свидригайлова, но бледная отнюдь не в художественном, а только в идейном смысле. У Тоцкого, как и у Свидригайлова, есть сладострастие и приверженность разврату, но нет преступлений Аркадия Ивановича, его страсти к разрешению «последних вопросов» бытия, поэтому невозможно представить себе Афанасия Ивановича, совершающего самоубийство. В «Идиоте» главная проблема – не развенчание «идейных» преступлений и приведение к раскаянию через любовь к Богу и любовь земную идеологических преступников, а показ страстей человеческих, будь то любовь мужчины и женщины, страсть к деньгам (у многих в романе обе эти страсти тесно переплетаются). При этом выясняется, что «положительно прекрасный человек» ничего не может сделать со страстями человечества. Он лишь способен оставить о себе добрую память и надежду, что в будущем люди, вспомнив его, не будут становиться жертвами страстей. Точно так же в «Легенде о Великом инквизиторе» Христос своим пришествием не может отвратить людей от того, чтобы творить зло Его именем, но своим всепрощением может зародить сомнения в самых убежденных поборниках антихриста.

Н.А. Бердяев в «Мировоззрении Достоевского» верно указал, что разврат и вообще половая любовь у Достоевского призваны продемонстрировать раздвоенность героев: «В трагедии мужского духа женщина означает раздвоение. Половая любовь, страсть говорит об утере целостности человеческой природы. Поэтому страсть не целомудренна. Целомудрие есть целостность. Разврат есть разорванность. Достоевский проводит человека через раздвоение во всем. И любовь раздвоена у него на два начала. И любят у него обычно двух. Двойная любовь и двоение в любви изображены им с необычайной силой. Он раскрывает в любви два начала, две стихии, две бездны, в которые проваливается человек, – бездну сладострастия и бездну сострадания. Любовь всегда у Достоевского доходит до предела, он исходит от иступленного сладострастия и от иступленного сострадания. Достоевского только и интересовало выявление этих предельных стихий любви. Его не интересовала мера в любви. Он ведь производил эксперименты над человеческой природой и хотел исследовать глубину ее, поставив человека в исключительные условия. Любовь всегда двоятся у Достоевского, предмет любви двоятся. Нет единой, целостной любви. Так и должно быть в путях своеволия человека. В этом двоении происходит существенное повреждение личности. Человеческой личности угрожает потерять целостность своего образа. И любовь-сладострастие, и любовь-сострадание, не знающие меры, ничему высшему не подчиненные, одинаково сжигают, испепеляют человека. В глубине самого сострадания Достоевский открывает своеобразное сладострастие. Страсть нецельного, раздвоенного человека переходит в иступление, и раздвоенность, разорванность этим не преодолевается. Он остается в самом себе, в своем раздвоении. Он вносит в любовь это свое раздвоение. Любовь влечет к гибели на противоположных своих полюсах. Соединение, целостность, победа над раздвоением никогда не достигается. Ни беспредельное сладострастие, ни беспредельное сострадание не соединяет с любимым. Человек остается одиноким, предоставленным себе в своих полярных страстях, он лишь истощает свои силы. Любовь у Достоевского почти всегда демонична, она порождает беснование, накаляет окружающую атмосферу до белого каления. Не только любящие начинают сходить с ума, но начинают сходить с ума и все окружающие. Иступленная любовь Версилова к Екатерине Николаевне создает атмосферу безумия, она всех держит в величайшем напряжении. Токи любви, соединяющие Мышкина, Рогожина, Настасью Филипповну и Аглаю, накаляют всю атмосферу. Любовь Ставрогина и Лизы порождает бесовские вихри.

Любовь Мити Карамазова, Ивана, Грушеньки и Екатерины Ивановны влечет к преступлению, сводит с ума. И никогда и нигде любовь не находит себе успокоения, не ведет к радости

соединения. Нет просвета любви. Повсюду раскрывается неблагополучие в любви, темное и истребляющее начало, мучительность любви. Любовь не преодолевает раздвоения, а еще более его углубляет. Две женщины, как две страдающие стихии, всегда ведут беспощадную борьбу из-за любви, истребляют себя и других. Так сталкиваются Настасья Филипповна и Аглая в «Идиоте», Грушенька и Екатерина Ивановна в «Братьях Карамазовых». Есть что-то не знающее пощады в соревновании и борьбе этих женщин. Та же атмосфера соревнования и борьбы женских страстей есть и в «Бесах», и в «Подростке», хотя и в менее выпуклой форме. Мужская природа раздвоена. Женская природа не просветлена, в ней есть притягивающая бездна, но никогда нет ни образа благословенной матери, ни образа благословенной девы. Вина тут лежит на мужском начале. Оно оторвалось от начала женского, от матери-земли, от своей девственности, т. е. своего целомудрия и цельности, и пошло путем блужданий и двоений. Мужское начало оказывается бессильным перед женским началом. Ставрогин бессилён перед Лизой и Хромоножкой. Версиков бессилён перед Екатериной Николаевной, Мышкин бессилён перед Настасьей Филипповной и Аглаей, Митя Карамазов бессилён перед Грушенькой и Екатериной Ивановной. Мужчины и женщины остаются трагически разделёнными и мучают друг друга. Мужчина бессилён овладеть женщиной, он не принимает женской природы внутрь себя и не проникает в нее, он переживает ее как тему своего собственного раздвоения.

Тема двойной любви занимает большое место в романах Достоевского. Образ двойной любви особенно интересен в «Идиоте». Мышкин любит и Настасью Филипповну, и Аглаю. Мышкин – чистый человек, в нем есть ангелическая природа. Он свободен от темной стихии сладострастия. Но и его любовь – больная, раздвоенная, безысходно-трагическая. И для него двоится предмет любви. И это двоение есть лишь столкновение двух начал в нем самом. Он бессилён соединиться и с Аглаей, и с Настасьей Филипповной, он по природе своей не способен к браку, к брачной любви. Образ Аглаи пленяет его, и он готов быть ее верным рыцарем. Но если другие герои Достоевского страдают от избытка сладострастия, то он страдает от его отсутствия. У него нет и здорового сладострастия. Его любовь бесплотна и бескровна. Но с тем большей силой выражается у него другой полюс любви, и перед ним разверзается другая ее бездна. Он любит Настасью Филипповну жалостью, состраданием, и сострадание его беспредельно. Есть что-то испепеляющее в этом сострадании. В сострадании своем он проявляет своеволие, он переходит границы дозволенного. Бездна сострадания поглощает и губит его. Он хотел бы перенести в вечную божественную жизнь то надрывное сострадание, которое порождено условиями относительной земной жизни. Он хочет Богу навязать свое беспредельное сострадание к Настасье Филипповне. Он забывает во имя этого сострадания обязанности по отношению к собственной личности. В сострадании его нет целостности духа, он ослаблен раздвоением, так как он любит и Аглаю другой любовью. Достоевский показывает, как в чистом, ангелоподобном существе раскрывается больная любовь, несущая гибель, а не спасение. В любви Мышкина нет благодатной устремленности к единому, целостному предмету любви, к полному соединению. Такое беспредельное истребляющее сострадание только и возможно к существу, с которым никогда не будешь соединен. Природа Мышкина тоже дионисическая природа, но это своеобразный, тихий, христианский дионисизм. Мышкин все время пребывает в тихом экстазе, каком-то ангелическом иступлении. И, быть может, все несчастье Мышкина в том, что он слишком был подобен ангелу и недостаточно был человеком, не до конца человеком. Поэтому образ Мышкина стоит в стороне от тех образов Достоевского, в которых он изображает судьбу человека. В Алеше попытался он дать положительный образ человека, которому ничто человеческое не чуждо, которому присуща вся страстная природа человека и который преодолевает раздвоение, выходит к свету.

Я не думаю, что образ этот особенно удался Достоевскому. Но на ангелоподобном образе Мышкина, которому многое человеческое было чуждо, нельзя было остановиться как на выходе из трагедии человека. Трагедия любви у Мышкина переносится в вечность, и ангель-

ская его природа есть один из источников увековечения этой трагедии любви. Достоевский наделяет Мышкина удивительным даром прозрения. Он прозревает судьбу всех окружающих людей, прозревает самую глубину любимых им женщин. У него сближаются восприятия эмпирического мира с восприятиями мира иного. Но этот дар прозрения есть единственный дар Мышкина в отношении к женской природе. Овладеть этой природой и соединиться с ней он бессилён. Замечательно, что у Достоевского всюду женщины вызывают сладострастие или жалость, иногда одни и те же женщины у разных людей вызывают эти разные отношения. Настасья Филипповна у Мышкина вызывает бесконечное сострадание, у Рогожина – бесконечное сладострастие. Соня Мармеладова, мать подростка вызывают жалость. Грушенька вызывает к себе сладострастное отношение. Сладострастие есть в отношении Версилова к Екатерине Николаевне, и он же жалостью любит свою жену; то же сладострастие есть в отношении Ставрогина к Лизе, но в угасающей и подавленной форме. Но ни исключительная власть сладострастия, ни исключительная власть сострадания не соединяет с предметом любви. Тайна брачной любви не есть ни исключительное сладострастие, ни исключительное сострадание, хотя оба начала приводят в брачную любовь. Но Достоевский не знает этой брачной любви; тайны соединения двух душ в единую душу и двух плотей в единую плоть. Поэтому любовь его изначально осуждена на гибель...»

Взаимоотношения красавицы Катерины, одержимого неистовой страстью к ней купца Мурина и влюбленного в нее мечтателя Ордынова в ранней повести «Хозяйка» (1847) не без основания можно рассматривать как зародыш сюжетной ситуации: Настасья Филипповна – Рогожин – Мышкин. В видениях больного Ордынова Катерина предстает как светлая, чистая «голубица».

Роман «Идиот» был задуман и написан за границей, куда писатель выехал с женой в апреле 1867 года. Побывав в Берлине, Дрездене, Гамбурге, Баден-Бадене, Достоевский 16 (28) августа 1867 г. сообщал из Швейцарии А. Н. Майкову: «Теперь я приехал в Женеву с идеями в голове. Роман есть, и, если Бог поможет, выйдет вещь большая и, может быть, недурная. Люблю я ее ужасно и писать буду с наслаждением и тревогой».

Первая запись к роману «Идиот» была сделана в Женеве 14 сентября ст. ст. 1867 года; продолжая работать над романом в Женеве, Вене, Милане, Достоевский завершил его во Флоренции.

Герой начальных планов ранней редакции – младший нелюбимый сын в разорившемся генеральском семействе. Идиот кормит семью, унижен, болен падучей, как и сам писатель, что указывает на автобиографичность образа. Идиотом его называют из-за нервности, необычности слов и поступков. По своему характеру он близок к Раскольникову, наделен «гордостью непомерной» и «потребностью любви жгучей»: это «формирующийся человек», который при жажде самоутверждения и отсутствии «веры» во что-либо, от избытка внутренних сил способен к крайним проявлениям и добра, и зла. Предшественница Настасьи Филипповны в черновиках звалась Миньонной, по имени героини романа Гете «Годы ученья Вильгельма Мейстера». Затем Достоевский назвал ее Ольгой Умецкой, взяв это имя из судебного процесса Умецких. За этим процессом Достоевский внимательно следил по русским газетам. Героиня Достоевского, приемщица, падчерица сестры матери, терпит унижения и подвергается «покушениям». Писатель характеризует ее как «мстительница и ангел». Она явно восходит к пятнадцатилетней Ольге Умецкой, доведенной жестоким обращением родителей, особенно избивавшего ее отца Владимира Умецкого, до того, что она четырежды поджигала дом родителей.

В наброске, сделанном 29 октября 1867 года, Достоевский писал: «Финал великой души. Любовь – 3 фазиса: мщение и самолюбие, страсть, высшая любовь – очищается человек».

В октябре – ноябре 1867 года Достоевский сделал набросок под названием «Император» – для неосуществленной поэмы «Одна жизнь» (поэма, вероятно, предполагалась в прозе, как и позднейшая «Легенда о Великом инквизиторе»). Не исключено, что эту поэму Досто-

евский собирался включить в текст будущего «Идиота» в качестве вставной новеллы, вроде «Легенды о Великом инквизиторе» в «Братьях Карамазовых», но передумал. В наброске речь шла об истории несчастного императора Ивана VI Антоновича, с младенчества находившегося в заключении и убитого при попытке освободить его поручиком Мировичем. Вот этот текст:

«Подполье, мрак, юноша, не умеет говорить, Иван Антонович, почти двадцать лет. Описание природы этого человека. Его развитие. Развивается сам собой, фантастические картины и образы, сны, дева (во сне) – выдумал, увидел в окно. Понятия о всех предметах. Ужасная фантазия, мыши, кот, собака. Молодой офицер, адъютант Коменданта, задумал переворот, чтоб провозгласить его императором. Он знакомится с ним, подкупает старого инвалида, прислуживающего арестанту, проходит к нему. Встреча двух человеческих лиц. Изумление его. И радость и страх, дружба. Он развивает узника, учит его, толкует ему, показывает ему деву. (Дочь Коменданта, через которую все делается.) Дочь Коменданта соблазнена быть императрицей. Наконец объявляет ему, что он император, что ему все возможно. Картины могущества («оттого-то я так и почтителен перед вами; я вам не равен»). (Узник так его полюбил, что однажды говорит: «Если ты мне не равен, я не хочу быть императором» – т. е. чувство, чтоб не потерять его дружбу.) Показывает ему мир, с чердака (Нева и проч.). Наконец бунт, Комендант закалывает Императора шпагой. Тот умирает величаво и грустно. Показывает Божий мир. «Все твое, только захоти. Пойдем!» Нельзя; при неудаче – смерть, что такое смерть?.. Он убивает кошку, чтоб показать ему; кровь. На того страшное впечатление. «Я не хочу жить». Коли так, если за меня кто умрет, если ты умрешь, она умрет...»

Милович в энтузиазме показывает ему оборотную сторону медали и толкует, сколько, став императором, он может сделать добра. Тот воспламенен.

Милович энтузиаст. Передает ему понятие о Боге, о Христе.

НВ (Он показывает ему свою невесту, дочь Коменданта, условившись с ней (отца не пробуют соблазнить: суровый старик, служака, и не пойдет на безумный подвиг). Невеста согласна: выходит, чтоб показаться, великолепно, по-бальному одетая, с цветами. Энтузиазм Императора. Невеста поражена впечатлением, которое она произвела. У нее мечты: стать императрицей. Милович замечает это, ревнует. Император замечает его ненависть и ревность, ненавистные взгляды, не понимает, но чувствует, в чем дело.)

Милович едет в Петербург, картина Петербурга.

При виде Коменданта Иван Антонович смущается: «Я его видел в детстве!»

Основной источник, из которого Достоевский почерпнул фактические сведения об Иоанне Антоновиче, был установлен Л.П. Гроссманом. Это статья издателя «Русской старины», историка М. И. Семевского, «Иоанн VI Антонович. 1740–1764 гг. Очерк из русской истории», опубликованная в 1866 г. в журнале «Отечественные записки». Речь там шла о жизни и судьбе несчастного императора Ивана (Иоанна) VI Антоновича (1740–1764). В трехмесячном возрасте, после смерти императрицы Анны Ивановны, 18 октября 1740 года он был провозглашен русским императором, при регентстве его матери, внучки царя Ивана V Анны Леопольдовны, но 25 ноября 1741 года был свергнут в ходе дворцового переворота, и императрицей провозгласили Елизавету Петровну. Всю оставшуюся жизнь он провел в одиночном заключении, разлученный со своими родителями, матерью и отцом, герцогом Антоном-Ульрихом Брауншвейг-Люненбургским. Иван Антонович был убит стражей в царствование Екатерины II, в ночь с 4 на 5 июля 1764 г., при неудачной попытке освобождения его из Шлиссельбургской крепости, предпринятой поручиком В.Я. Миловичем (1740–1764), который намеревался снова провозгласить императором Ивана Антоновича, не получившего никакого образования и едва умевшего говорить, поскольку его воспитанием никто и никогда не занимался. Комендант крепости имел тайный приказ убить опального императора, если его попытаются освободить.

Архивные материалы и официальные правительственные бумаги рисовали Ивана Антоновича слабоумным, косноязычным «идиотом», в сочинениях, вышедших из лагеря врагов Екатерины II, образ его подвергся идеализации, а народная молва приписывала ему черты праведника, народного царя, желающего облегчить тяжкую крестьянскую долю. Семевский утверждал: «Вопреки всем предосторожностям Иоанн Антонович на двенадцатом году узнал тайну своего рождения от одного из солдат, охранявших его темницу». Историк отметил, что «безымянный автор французской апологетической брошюры «Histoire d'Iwan VI» посвящает две странички рассуждениям «о природных и личных свойствах принца». Он уверяет, что душевные доблести и счастливые таланты... были присущи душе молодого Иоанна. Автор, основываясь на предположениях и догадках, опровергает мнение, высказанное другими писателями, будто бы Иоанн был идиот (в чем, однако, кажется, и не может быть сомнения). «Хотя злополучный государь, – восклицает его историк, – содержался под таким строгим надзором, что весьма немногие могли его видеть, тем не менее, истина прошла сквозь стены и валы; и молва народа гласит, что ум и благородные чувства Иоанна делали его вполне достойным той короны, которую носили другие. Постоянное уединение спасло его от недостатков, присущих всем молодым принцам, вырастающим среди соблазнов всякого рода...» Уединение и постоянное умозерцание, постоянное размышление о самом себе, постоянная беседа со своим собственным сердцем развили принца, по уверению его историка, гораздо более, нежели развили бы его многие учителя Европы». Семевский также приводит мнение об Иване Антоновиче британского посла лорда Букингама, писавшего 25 августа 1763 года: «Толки здесь идут разные: одни уверяют, что это полнейший идиот; если верить другим, этот человек лишен воспитания, но скрывает свои способности». И он же отмечал, что «государь этот... был необыкновенной красоты, высок ростом, статен, имел белокурые волосы, русую густую бороду, черты лица правильные, кожу белизны чрезвычайной». Это, кстати сказать, вполне отвечало народным представлениям о «добром царе».

В приведенных цитатах Иван Антонович дважды называется «идиотом», причем оба раза версия о слабоумии опровергается, что явно совпадает со случаем князя Мышкина.

Достоевскому, несомненно, были известны факты биографии Мировича, а также рассказы о нем современников, приведенные в статье Семевского: «Этот человек был очень набожен, даже суеверен, все свои намерения записывал с наложением на себя духовных обещаний... Когда же не исполнились его моления, он с удивительным благоговением принял смерть». Историк отмечал, что Мирович, «обще с поручиком великолуцкого полка, Аполлоном Ушаковым, давал в церквах разные обеты, призывая Бога и Богородицу к себе на помощь». Процесс Мировича трактовался Семевским как один из первых политических процессов в России. Подробно описав казнь, Семевский указал на мнимое «человеколюбие» Екатерины Великой, которая заменила Мировичу четвертование менее мучительной казнью через отсечение головы. Об этом приговоренному было объявлено уже на эшафоте. Точно так же петрашевцам, некоторых из которых тоже первоначально приговорили к четвертованию, об отмене смертной казни было объявлено только тогда, когда их уже вывели на плац, будто бы для исполнения приговора.

В окончательный текст романа эпизод с Иваном Антоновичем и Мировичем не вошел, но, вероятно, под влиянием этого сюжета он решил вложить в уста Мышкина пространные рассуждения о смертной казни как деле антихристианском.

Наряду с очерком Семевского на формирование замысла «поэмы» «Император» оказал воздействие, как установил А.В. Алпатов, и другой – уже не исторический, а литературный – источник. Это опубликованный в 1863 году М.П. Погодиным набросок плана неосуществленного романа о Мировиче, задуманного (в конце 1830 – начале 1840-х годов) украинским романистом и драматургом Г.Ф. Квиткой-Основьяненко. Вот фрагмент этих заметок:

«Можно бы интересный составить исторический роман из горестной жизни несчастного принца, бывшего в России под именем императора Иоанна VI Антоновича. Из двух приставов, находившихся при нем (кто они, известно из манифеста о Мировиче), можно одному придать характер честолюбивый, скрытный, коварный. Или дать ему дочь с самым необыкновенным для девицы характером: скрытным, предприимчивым, сильным, смелым, честолюбивым без меры, твердым, решительным и на все готовым для достижения цели своей. Она, возвратясь из чужих краев, где получила образование с семейством князя **, нашла отца при сем принце. Основала план освободить его, возвести на престол и быть его женой, а смотря по обстоятельствам, и царствовать...

Дочь скоро овладела умом отца и склонила его на свою сторону... Принц, который вовсе не был таков, каким его по необходимости изобразили в манифесте, поражается наружностью девицы (к чему много способствовали лета и уединение, в котором он был содержан)... Хитрая скоро проникла принца; говорила с ним, читала, рисовала, день ото дня далее и далее довела его до сознания в любви и заключила с ним условие, что б ни последовало с ним в лучшем обстоятельстве, он женится на ней... Случай сводит ее с Мировичем, человеком подобного же характера, как и она, но вдобавок озлобленного первыми вельможами. Они знакомятся, сближаются. Девица влюбляет его в себя, дает ему мысль о возведении Иоанна на престол и поселяет в него надежду стать при нем генералиссимусом, светлейшим князем и пр. и пр... Мирович... не подозревал никакой связи у его возлюбленной с принцем, а полагал, что она действует для пользы его (Мировича) и из любви к нему».

Вероятно, Иван Антонович мыслился как своеобразный двойник князя Мышкина. Чистый, не затронутый соблазнами и пороками света, принимающий Божий мир как высшую данность, живущий в единении с природой. Для него непереносимы страдания любой Божьей твари, кошки или мыши, вызывают у него желание умереть. Возможно, мысль, являющаяся во сне Ивану Антоновичу, надумила Достоевского дать своему герою фамилию Мышкин. А мысль о пролитии крови любого живого существа, даже кошки, в «Братьях Карамазовых» дошла до утверждения о слезинке ребенка как мере недопустимого страдания, пусть даже этим будет куплен прогресс всего человечества.

Дочь коменданта – это своеобразное отражение в исторической легенде образа Настасьи Филипповны, к которой вполне можно применить слова о необыкновенном для девушки характере. Мирович послужил одним из прототипов Рогожина. Парфен Семенович готов на все, влекомый неудержимой страстью.

В «Идиоте» все же появилось упоминание одного яркого эпизода истории XVIII века, правда, относящегося еще к петровскому времени.

Ипполит Терентьев, молодой человек, склонный к самоубийству, спрашивает Мышкина: «– Читали вы, князь, про одну смерть, одного Степана Глебова, в восемнадцатом столетии? Я случайно вчера прочел...

– Какого Степана Глебова?

– Был посажен на кол при Петре.

– Ах, боже мой, знаю! Просидел пятнадцать часов на коле, в мороз, в шубе, и умер с чрезвычайным великодушием; как же, читал... а что?

– Дает же Бог такие смерти людям, а нам таки нет! Вы, может быть, думаете, что я не способен умереть так, как Глебов?

– О, совсем нет, – сконфузился князь, – я хотел только сказать, что вы... то есть не то что вы не походили бы на Глебова, но... что вы... что вы скорее были бы тогда...

– Угадываю: Остерманом, а не Глебовым, – вы это хотите сказать?

– Каким Остерманом? – удивился князь.

– Остерманом, дипломатом Остерманом, Петровским Остерманом, – пробормотал Ипполит, вдруг несколько сбившись. Последовало некоторое недоумение.

– О, н-н-нет! Я не то хотел сказать, – протянул вдруг князь после некоторого молчания, – вы, мне кажется... никогда бы не были Остерманом...

Ипполит нахмурился.

– Впрочем, я ведь почему это так утверждаю, – вдруг подхватил князь, видимо желая поправиться, – потому что тогдашние люди (клянусь вам, меня это всегда поражало) совсем точно и не те люди были, как мы теперь, не то племя было, какое теперь в наш век, право, точно порода другая... Тогда люди были как-то об одной идее, а теперь нервнее, развитее, сенситивнее, как-то о двух, о трех идеях за раз... теперешний человек шире, – и, клянусь, это-то и мешает ему быть таким односоставным человеком, как в тех веках...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.